

Арсений Рутыко  
ПОВЕСТЬ О ПЕРВОМ ПОДВИГЕ



Детиз. 1962

Цена 27 коп.







ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

*Арсений Рутко*  
**ПОВЕСТЬ  
О  
ПЕРВОМ ПОДВИГЕ**



*Рисунки В. Ладыгина*

Государственное издательство детской литературы  
Министерства Просвещения РСФСР

*В детстве мальчики Даня и его сверстники Юрка с Ленкой читали книгу «Овод». Книга потрясла друзей.*

*«— Ребята! — сказал Юрка. — А давайте всегда, как он? А? Вот надо что-нибудь сделать — и спроси себя: как бы он поступил? И так и делать...*

*Ленька тихонько свистнул.*

*— Как Овод — это надо же совсем бесстрашно, — с мечтательной завистью сказал он. — Вот где самое опасное — туда и лезть...»*

*Ребята не знали тогда, что пройдут годы и они совершат поступок, который потребует от них решимости не меньшей, может быть, чем у Овода.*

*О том, как ребята помогали революции, как выполнили первое боевое задание большевистской организации города, в котором они жили, и рассказывает эта книга.*



Доченьке моей Мирославе

### *1. „Голубиные годы“*

В маленьком уездном городке, где я родился и вырос, было только три больших кирпичных здания: две шестиэтажные паровые мельницы купцов Тегина и Барутина в самом городе и четырехэтажное здание Тюремного замка на берегу Чармыша.

Окна мельниц, запорошенные мучной пылью, были мутно-белые, непрозрачные, за ними не таилось ничего интересного для нас, но окна тюрьмы всегда пугали своей жутковатой темнотой, — в них иногда неясными, почти неразличимыми пятнами угадывались чьи-то лица.

Мы, дети, так же как взрослые, знали, что тюрьма эта и пересыльная и «политическая срочная», то есть такая,



где отбывали свой срок политические заключенные, — их тогда почти все в городе считали извергами и убийцами. Изредка мы видели, как этих бледных бородатых людей в серых безрадостных одеждах усиленный конвой с шашками наголо вел по Продольной улице от вокзала к тюрьме.

Мы, мальчишки, провожали их на почтительном расстоянии до Тюремного замка, смотрели, как они один за другим скрывались за железными заржавленными воротами. Потом, когда ворота закрывались, мы, улегшись в кружок где-нибудь на берегу Чармыша, принимались рассказывать друг другу о приключениях Шерлока Холмса и Ната Пинкертона.

Летом, бегая на Чармыш купаться, мы нередко делали крюк, чтобы пробежать мимо тюрьмы. Было что-то таинственно-притягивающее в кроваво-красных кирпичных стенах, в караульных башнях, из окошек которых выглядывали часовые, в черных железных воротах с квадратным окошком на высоте человеческих глаз...

Иногда, набравшись смелости, мы проходили под самой тюремной стеной мимо полосатой, как шлагбаум, сторожевой будки. Если в это время в воротах открывалось окошко, мы в ужасе бросались прочь. Впереди в таких случаях бежал, прижимая к груди единственную свою руку, самый маленький из нашей «тройки» — Ленька Огуречик, за ним — я, а уж за мной по-медвежьи топтал Юрка Вагин.

Отцы наши работали на мельнице Барутина; у Юрки — грузчиком, у однорукого Леньки — слесарем по ремонту, а мой — «засыпкой», на самом верхнем, шестом, этаже. Ежедневно в полдень мы ходили на мельницу, относили отцам обед.

Огромный двор, замощенный крупным булыжником, был покрыт толстым слоем пыли, лишь вдоль стен тускло поблескивала чешуя камней. Между камнями пробивалась жалкая, худосочная травка.

Главный корпус огибали сверкающие полосы рельсов. Время от времени по ним, натужно пыхтя, проползал маленький зеленый локомотив с вагонетками, груженными мешками с зерном или мукой. Раньше мы любили кататься на этих вагонетках, но два года назад под одной из них осталась лежать окровавленная Ленькина рука.

Никогда не забуду: кричащего Леньку уже подняли и понесли, а я все еще стоял и смотрел на эту такую знакомую мне веснушчатую руку, — на ней, казалось, еще вздрагивали, сжимаясь и разжимаясь, пальцы...

Отец мой, как я уже сказал, работал на шестом этаже. Он почти всегда встречал меня шуткой, но иногда, тыча мне пальцем в живот или в бок, грустно говорил:

— На следующий год пойдешь, Данька, и ты в подметалы. Хватит сиварей гонять.

На обеих мельницах жили и кормились тысячи диких сизых голубей, их в нашем городке называли сиварями.

Именно из-за сиварей я однажды страшно избил Вальку Гунтера, сына управляющего мельницей, и тем едва не навлек беду на всю нашу семью.

Это был толстощекий, румяный мальчишка, почти всегда одетый в ярко-синюю, совсем как у настоящих моряков, матроску с позолоченными якорями по углам широкого воротника. Я бегал тогда в заплатанных рубашонках и страстно мечтал, что, когда вырасту или, даст бог, найду клад, обязательно куплю себе такую же. И удивлялся: почему это богатые взрослые люди, вроде того же Гунтера, не носят таких матросок.

Но, пожалуй, еще бóльшую зависть в наших мальчишеских сердцах вызывала не матроска, а то, что Валькиной тетке принадлежал единственный в городе кинотеатр «Экспресс» и Валька мог бесплатно смотреть все серии «Тайнственной руки» и полные опасных и удивительных приключений фильмы с участием Гарри Пила<sup>1</sup>.

Мы, «мельничные» ребята, легко ловили сиварей. Для этого стоило только взобраться на мельничный чердак. В обед, отдав отцам скудную их еду — вареную картошку с зеленым луком, пару соленых или свежих огурцов или бутылку молока, — мы прятались по темным углам верхних этажей. А потом, таясь от бельмастого, но всевидящего глаза старшего крупчатника Савела Митрича Мельгузина, юркого маленького старичка с пористым, словно вырезанным из грязной пемзы лицом, пробирались по крутой чугунной лестнице на чердак и там сач-

---

<sup>1</sup> Популярный американский киноактер; снимался во многих приключенческих фильмах.

ком, сделанным из обрывка старой рыболовной наметки, ловили голубей.

Однако не только голуби привлекали нас в этот мир запустения, пыли и битого оконного стекла. Здесь все казалось таинственным и интересным. С перекошенных стропил свешивались, точно корабельные канаты, лохмотья пыльной паутины. У своих серых, похожих на горшки гнезд тревожно звенели каменные пчелы. Уцепившись лапами за стропила, спали, головами вниз, летучие мыши. Мы сбивали их комьями голубиногo помета и смеялись, глядя, как они, слепые, мечутся между балками, ни одну не задевая крылом.

Порой, забывшись, мы поднимали при этом такой шум, что вдруг и сами пугались и затихали на минуту: не услышал ли кто внизу? Но нет, все оставалось спокойным, шестиэтажное здание мельницы мягко гудело, доносились со двора голоса людей, требовательно покрывал паровоз.

Отсюда, с чердака, можно было бросить комок голубиногo помета на голову тому, кого мы особенно ненавидели. А ненавидеть нам было кого: Гунтера, приказчиков, пожарников, сторожей, всех, кого, приходя домой, брали наши отцы и кто гонял нас с чердака.

Но самым привлекательным здесь было даже не это. Через полукруглое чердачное окно мы могли часами смотреть вниз, на залитый щедрым солнцем пыльный зеленый город.

Широкие, поросшие травой улицы тянулись от мельницы к церковной площади, где нагромождением голубых куполов высилась церковь. Кресты на куполах, как и на колокольне, были выложены зеркалами и ослепительно сверкали на солнце, словно сами источали свет.

За церковной площадью улицы бежали дальше, туда, где, обжимая город, огромным зелено-серым удавом выгибалась железнодорожная насыпь. За ней поднималось красное, такое, казалось бы, мирное в кружеве прибрежных лесов здание тюрьмы.

В блеклой зелени тальника узким лезвием поблескивал дорогой нашим мальчишеским сердцам Чармыш с его отмелями и перекатами, с лопуховыми зарослями по берегам, с омутными глубинками, где между корягами лениво шевелились пудовые сомы. А левее, словно оваль-

ный просвет в лесу, куском весеннего неба голубело озеро Святое.

Словом, весь милый, казавшийся нам необъятным мир нашего мальчишеского детства распахивался перед нами, когда мы смотрели из чердачного окна.

Весной, когда голубки садились на яйца, мы меньше лазили на чердак, потому что при нашем появлении птицы поднимали сильный шум, огромной стаей вылетая и опять влетая в окно.

— Ну, опять кто-то из этих сорванцов на чердаке! — кричал Мельгузин. — Не ровен час — сожгут!

И посылал пожарника или сторожа — поймать. И уж если ловили, дело кончалось плохо: день-два приходилось спать животом вниз.

Зато сколько радости доставляло нам время, когда в гнездах подрастали птенцы! Мы приносили голубям в бутылках воду или молоко, таскали на чердак полные карманы подобранного у амбаров зерна, воровали у матерей пшеничную и гречневую кашу, копали червяков на берегу Калетинского пруда. У каждого из нас были «свои» гнезда, и мы азартно спорили — у кого быстрее растут голубята, у кого первого вылетят из гнезда.

Об этом «голубином» времени, как мы его потом называли, у меня сохранились самые светлые, самые радостные воспоминания, хотя в то время семье нашей жилось и трудно и голодно.

## *2. Подсолнышка*

Мы жили тогда вчетвером: отец, мать, я и маленькая моя сестренка, трехлетняя Саша. Она была тщедушной, рахитичной девочкой с большими, иногда зеленоватыми, иногда синими глазами, в глубине которых как будто таилась искорка испуга или тревожного удивления. Что-то неслышно и ласково шепча, она в ненастные дни целыми часами сидела в уголке, за кроватью отца и матери, копаясь в дешевых разноцветных тряпочках, которые называла «игрушками». В погожие дни, обняв руками худые коленки, подолгу сидела на завалинке, на солнечном пригреве, наслаждаясь тишиной и теплом, жмурясь от удовольствия, как котенок.

Не помню, кто из нас впервые назвал ее Подсолнышкой, — она почти незаметно пересаживалась с места на место, избегая надвигавшейся на нее тени, — но это прозвучало так и осталось за ней на всю ее жизнь.

Теперь я почти не могу представить себе ее лица, только глаза — как блюдечки с синей водой, говорила мама, — да еще, пожалуй, губы, испуганно вздрагивавшие при каждом громком звуке: при мельничном или паровозном гудке, при ударе колокола, при лае собаки, при чьем-нибудь окрике.

— И в кого ты такая трусиха? — возмущался я.

— А я не трусю... Мне ушки больно.

И все-таки я очень ее любил, как всегда старшие на несколько лет, здоровые братья любят своих маленьких болезненных сестреночек, — покровительственно, с оттенком грубоватой нежности и глубоко-глубоко запрятанной и все-таки трогающей до слез жалости.

Помню, я часто спрашивал себя: а дал бы я отрубить себе правую руку и жить, как Ленька Огуречик, с одной левой, если бы бог сделал Сашеньку здоровой?.. Отдал бы, конечно! Но только лучше, пожалуй, левую. Ну как же я буду без правой руки — ни камня кинуть, ни подраться, ни поплавать; как защищу ее, Подсолнышку, без правой-то руки?

«Нет, — решил я, — правую нельзя». А левую я готов был отдать немедленно, лишь бы у Сашеньки ножки стали прямые, лишь бы она вместе с нами бегала на Чармыш и в лес, лазила через забор в поповский сад, словом, чтобы приобщилась к нашему миру воинственных и рискованных радостей.

Бывая с матерью в церкви, — а мама была очень набожная, — я отходил от нее и от Подсолнышки и подолгу топтался перед самой большой позолоченной иконой, предлагая богу свою жестокую сделку. Но богу было, вероятно, мало одной моей руки, он молчал, глядя на меня печально и строго. Я обижался и однажды очень удивил и огорчил мать, заявив ей:

— Не буду я больше молиться. Он почему такой злой, твой бог?

Мать больно отодрала меня за уши и три дня не пускала на улицу. А рассказать ей о своих молитвах за Сашеньку я почему-то не мог.

Мне кажется, что в моей любви к Подсолнышке было что-то сходное с любовью к ней нашего отца. Вернувшись с работы, переодевшись в чистую рубашу, отец брал Сашеньку на руки и, если было солнечно, садился с ней на крыльцо барака, в котором мы жили. Заскоружлыми пальцами перебирал льняные реденькие волосы девочки и иногда прижимался щекой к ее голове. И столько было в этом почти незаметном движении боли и жалости к ней, сознания какой-то, пусть даже невольной, своей вины перед этим маленьким человечком, что я, ничего не умея ни назвать, ни объяснить, готов был плакать, так у меня сжималось сердце.

А Подсолнышка теребила отца за бороду, за усы, щекотала, смеялась и без конца задавала странные свои вопросы:

— Пап, а кто дует ветер?.. Пап, а кто солнушко по небу катит?

Самой большой радостью для Сашеньки было, когда по весне я приносил ей подростшего, но еще не умеющего летать голубенка и она могла хлопотать над ним, поить и кормить, пока у него не отрасли крылья. Окрепнув, голуби улетали и, конечно, навсегда забывали наш барак и тоненькие пальцы Подсолнышки, но она уверяла меня, что голуби хорошо ее помнят. И, когда к нам во двор или на подоконник единственного окошка нашей комнаты слетали с мельничной крыши голуби, Сашенька хлопала в ладоши:

— Мои! Мои! Видишь, я говорила!

Барутинские бараки стояли на самой окраине города, а за ними поднималась Горка, поросшая густым сосновым лесом. Весной склоны Горки рано освобождались от снега, и в погожие дни я приводил сюда Сашеньку. После зимнего, почти безвыходного сидения в бараке она с радостным благоговением ходила от цветка к цветку и не рвала их, а присаживалась возле и то разговаривала с ними, то пела ею самой придуманные песни:

...Милый, добрый цветок,  
Беленький, зелененький,  
Где твоя мама?

Мать моя до появления на свет Сашеньки тоже работала на Барутинской мельнице: сначала, еще девчон-

кой, в подметалках, потом чинила ремни зернотасок, зашивала мешки с мукой. Но незадолго до рождения Подсолнышки ее уволили и потом больше не взяли: ее место оказалось занятым. В девушках очень красивая, большеглазая и чернобровая, с крупными чертами лица, мать моя к тому году, с которого начинается этот рассказ, немного поблекла, увяла, но все еще считалась первой красавицей у нас на Северном Выгоне. По праздникам, надев желтую или красную кофточку и широкую, со множеством сборок юбку, она становилась очень красивой, все парни на нашей улице оглядывались ей вслед.

А она словно и не замечала своей красоты, «носила красоту легко», как любили говорить соседки, только на лице ее часто вспыхивала беспечная и какая-то далекая улыбка. Как будто она улыбалась не тому, что видела и слышала кругом, а не слышной другим музыке внутри себя.

В праздничные дни рабочие с мельницы и с чугунолитейного завода Хохрякова, ремесленники, мастеровые выходили на Горку «гулять» семьями — с самоварами и корзинами с едой, с гитарами и балалайками.

Ходили на Горку всей семьей и мы. Я тогда еще, конечно, не знал, что Горка была не только местом отдыха, а и местом первых рабочих собраний.

Обычно мы рассаживались на траве, на открытом месте, через несколько минут к отцу присоединялись рабочие с чугунолитейного, с мельниц, из депо, кто-нибудь доставал из кармана бутылку с водкой. Тогда отец посылал нас с Подсолнышкой погулять, и мы ходили по лесу, собирая сосновые шишки и простенькие, почти без запаха цветы. Мать тоже уходила от товарищей отца — по ее сердитому лицу я догадывался, что ей не нравятся встречи отца с этими людьми. И мне они тоже не нравились. «Лучше бы, — думал я, — отец, вместо того чтобы так долго и тихо разговаривать, пел бы песни и играл на гармонии, как все». Когда я ему однажды сказал об этом, он хитровато улыбнулся в усы:

— Так ведь, сынка, гармони-то у нас нет... Да и у товарищей тоже... Это вон купчишки богатые, им и играть...

Отец и мать очень любили друг друга и никогда не ссорились. И только однажды, за несколько дней до начала войны, случайно проснувшись, я услышал взволнованный разговор.



*...По ее сердитому лицу я догадывался, что ей не нравятся  
встречи отца с этими людьми.*



— Ну милый, родненький Даня... — быстро и горько говорила мать. — Ну, меня тебе не жалко, так детишек пожалей... Пусть вон у которых детей нету... — Открыв глаза, я увидел, что мать пытается удержать отца, собравшегося уходить.

Я, конечно, не понимал, о чем они говорят, но в голосе матери было столько тревоги и боли, что и мне захотелось крикнуть: «Не ходи, папка!»

Он сначала рассердился, сурово посмотрел на мать, а потом осторожно снял со своих плеч ее руки, прижал их к груди и сказал:

— Да успокойся ты, дурочка. Ложись...

Мать долго стояла у порога. Потом начала прибирать в комнате. Уронила нож. Испуганно оглянувшись на нас — не разбудила ли? — осторожно подняла его, взяла со стола шитье. Но через минуту и шитье бросила на стол. Потушила лампу и села к окну.

Ночь была светлая, на полу в бледно-желтом квадрате лунного света отчетливо вырисовывалась тень маминной головы.

Встревоженный, я долго не мог уснуть и все ждал возвращения отца. Но скоро усталость взяла свое, и я уснул. Мне снилось купание в прогретом солнцем пруду, лопуховые заросли на Чармыше и мальчишеский бой нашей улицы с Соборной, с гимназистами и «реалишками».

Но спал я все же очень чутко и, когда под утро чуть слышно скрипнула дверь, сразу открыл глаза. Вошел отец. Одним бесшумным рывком мать вдруг оказалась у двери и, закинув отцу на шею руки, прижалась к нему.

— Ну, ну! — грубовато и очень ласково сказал он. — Не ложились?

Я счастливо вздохнул, повернулся на другой бок и моментально уснул опять.

### *3. Два дня назад в Тюремном замке*

Когда я снова проснулся, отца уже не было: ушел на работу. В комнату заглядывало солнце, на улице ворковали голуби. Подсолнышка спала на своей кровати за печкой, мне видны были только ее босые ножонки да угол

спустившегося до пола одеяла, сшитого из разноцветных треугольных лоскутков.

Под окном приглушенно и тревожно разговаривали женщины, потом послышался топот копыт.

Я вскочил. В этот момент в комнату вбежал запыхавшийся Ленька. Он был так бледен, что я увидел на его лице только веснушки.

— Пожар?! — спросил я, торопливо натягивая штаны.

— Какой пожар! Повесили! — зашептал он, зачем-то оглянувшись на окно.

— Что повесили?

Вошла мама, расстроенная, такая, какой я ее еще никогда не видел. Она растерянно посмотрела на икону и, хотя тот день не был ни воскресным, ни вообще праздничным, влезла на табурет и зажгла перед иконой лампадку. Мне не терпелось узнать, что и где повесили, и, пока мама стояла спиной к двери, я следом за Ленькой выбежал во двор. Мы спрятались в дровяном сарайчике.

— Ну!

— Вот... гляди... с ворот содрал...

Ленька вытащил из кармана измятый листок, на котором крупными буквами было написано:

«Товарищи! Царские палачи совершили очередное свое злодеяние. Два дня назад в Тюремном замке нашего города повешены товарищи с Сормовского завода — Смушков и Силуянов, обвинявшиеся в том, что они боролись против существующего строя, за свержение царского правительства, за лучшую жизнь для трудового народа. Вечная память им, не пожалевшим даже жизни своей за всеобщее народное счастье. Позор и проклятье палачам!»

Я прочитал листовку и помню, что меня как будто ударило по самому сердцу. Ведь все последние дни мы бегали мимо замка, даже и не подозревая, что там находятся люди, ожидающие смерти. И мне вдруг представились виселицы, освещенные багровым светом факелов, поп в черной рясе с огромным золотым крестом... И еще я вспомнил ночной уход отца, слезы и тревогу матери. И для меня все эти события связались в один темный и страшный клубок.

Я почувствовал на глазах слезы и отвернулся, чтобы

Ленька не видел, что я плачу. Я и сам не смог бы еще объяснить своих слез.

Ленька сказал:

— Теперь бы на их кладбище сходить.

Я посмотрел на него не понимая. Их кладбище? Да! Ведь тех, кого казнили и кто умирал в тюрьме, хоронили не на городском кладбище, а недалеко от тюрьмы, на небольшой полянке, где не было даже крестов, а только холмы могил и где всегда паслись отбившиеся от стада коровы. Позже, когда мы попали на тюремное кладбище, мы нашли там только один свежий холм и не сразу догадались, что обоих казненных зарыли в одну яму. Но это было позже, недели через две, а в тот день сбегать на кладбище нам не пришлось. Днем и у нас, и у Юрки, и у многих других рабочих был обыск — всё перерыли, перешвыряли и, хотя ничего не нашли, отцов наших прямо с мельницы увели в так называемую каталажку на Большой улице.

Выпустили их через две недели, и они вернулись избитые, в синяках, но, к моему удивлению, бодрые. А что мы с Юркой пережили за это время, думая, что наших отцов вот-вот «перегонят» из каталажки в Тюремный замок и там повесят, — я рассказать не могу. Все ночи мы дежурили на Большой улице и, если случалось задремать, вскакивали от самого легкого скрипа калитки.

В те дни мы повзрослели на несколько лет, казалось, что никогда уже не вернется прежняя, беспечная и беззаботная пора... Однако пришел из тюрьмы отец, и очень скоро все пошло как и раньше, как будто и не было этих страшных недель...

#### ***4. Таинственный парк***

Было в городе еще одно место, очень любимое мальчишками, — Калетинский пруд. Он тянулся почти на полкилометра вдоль Барутинской мельницы, но с противоположной баракам стороны. Летом густо заросший около берегов кувшинками и лилиями, зимой прикрытый ровным льдом, он был для нас источником самых доступных радостей и развлечений.

От ворот мельницы на другую сторону пруда был переброшен деревянный мост, по нему зеленый мельничный паровоз водил на станцию и со станции поезда с зерном и мукой. Раньше этот мост никем не охранялся. Но во время всеобщей забастовки тысяча девятьсот пятого года кто-то поджег мост, пропитанные мазутом и машинным маслом сухие брусья вспыхнули, как костер, и мост сгорел в четверть часа. Позже выяснилось, что это была провокация: в поджоге обвинили бастовавших рабочих, и многие из них были арестованы и осуждены. Мост же через полгода вновь отстроили и с тех пор охраняли с показной старательностью и даже иногда поливали из шлангов водой — это случалось летом, в зной, когда все готово было, кажется, загореться от солнечного луча.

Теперь по мосту всегда прохаживался сторож с берданкой за плечом — то бородатый дед Никита Свешников, то Гошка-солдат, зиму и лето носивший старенькую шинель, в которой он вернулся с японской войны. Оба они боялись потерять работу и потому относились к мальчишкам с крикливой, подчеркнутой строгостью.

На той стороне пруда зеленел тенистый, вековой Калетинский парк, обнесенный с трех сторон кованой узорной оградой. Ограда была высокая, в ее узоре железные цветы сплетались с копьями, устремленными остриями вверх. Перелезть через нее, казалось, было совершенно невозможно.

Осенью, когда опадала листва, между толстыми стволами осокорей, стоявших, как стража, на берегу пруда, становились видны колонны белого одноэтажного особняка. В этом доме уже несколько лет никто не жил.

По словам стариков, лет десять назад, еще до революции пятого года, в парке чуть не каждый летний вечер гремела музыка, между деревьями загорались разноцветные фонари, и любопытные обыватели с мельничной стороны могли наблюдать, как князь Калетин спускается с гостями к пруду покататься на лодках. Лодки, вернее, их полуистлевшие остовы доживали сейчас свой век на берегу, прикованные цепью к огромному, в три обхвата осокорю, возле старенькой, полуразвалившейся, когда-то окрашенной в голубой цвет купальни. Вход в купальню был наглухо забит, и проникнуть в нее можно было, только поднырнув под стены.

Теперь парк был всегда глух и пуст — ни человеческого голоса, ни смеха, ни звона посуды или струны ни разу не донеслось оттуда до нашего берега. Парк зарастал год от года все гуще, превращался в дремучий лес. Аллеи и тропинки только угадывались — зеленые щели между деревьями и разросшимися во всю силу кустами сирени, акации и малины.

Жил в парке сторож — лакей или кучер Калетиных, вывезенный когда-то ими из Франции, — высокий и худой, словно сколоченный из досок старик с туго сжатым ртом и бесцветными, оловянными глазами. Еще в парке обитала огромная собака, имени которой никто, кроме старика, не знал. Она, как тень, бродила по саду, иногда поднимая злобный и хриплый лай.

По утрам сторож, одетый в наглухо застегнутый сюртук, в помятой черной шляпе, в ботинках с блестящими пряжками, поражавшими наше воображение, приходил в ближайший к парку магазин Кичигина купить себе хлеба и собаке мяса. Он ни с кем не разговаривал, однако было известно, что он ждет возвращения из-за границы одного из молодых Калетиных и надеется, что тот отправит его умирать на родину.

Утверждали, что в парке по ночам появляется привидение — высокая женщина в светлом платье — и что ее всегда сопровождает собака, покорно тычась носом сзади в ее ноги. Говорили, что это бродит душа дочери Калетина, повесившейся здесь после того, как сослали в Сибирь ее жениха.

Надо ли говорить, как пугал и в то же время как притягивал нас таинственный Калетинский парк и дом с его остановившейся, застывшей, как бы окаменевшей жизнью. Но мы долго не решались переступить запретную черту.

Однажды ночью мы сами увидели привидение.

После долгого знойного дня, раскалившего и стены кирпичных домов, и камни мостовых, и землю, мы, вернувшись с Чармыша, решили еще раз искупаться в пруду.

Эти ночные купания хороши тем, что вода как бы напитана радостным остывающим солнечным теплом; в пруду, где она неподвижна, она так ласково и тепло обнимает тело.

Купались долго. И, уже когда собрались вылезать, услышали, как в парке залаяла собака.

Ночь была светлая, но облачная, облака то закрывали луну, то снова открывали ее — лунный свет, обычно неподвижный, медленно тек по земле и воде. А калетинский берег, опушка, купальня и прикованные к осокою лодки не были освещены, тонули в темно-зеленой тени. И вот в этой тени, повернувшись на лай, мы и увидели едва различимую белую фигуру.

Я не помню, как мы добрались до берега, как нашли свои штаны и рубашки, запрятанные на всякий случай под доски. Не одевшись, не в силах оглянуться, мы опрометью понеслись прочь. И, только отбежав квартал, повернув за угол мельничного двора, скрывшего от нас пруд, мы остановились и в смятении посмотрели друг на друга.

— Вот, Дань, а ты говорил — не бывает! — дрожа, сказал Ленька и вдруг заплакал. — Бы-ва-а-е-т... Это мы... озлили ее...

На другой день я рассказал о ночном приключении отцу.

— Эх ты, дурак ты мой рыжий! — совершенно серьезно сказал он, выслушав мой сбивчивый рассказ. — На читался чепухи, вот и мерещится неведомо что!

— Да нет, пап!

Отец взял у меня из рук тоненькую книжку, с обложки которой человек в черной полумаске целился из пистолета прямо в читателя.

— Опять Пинкертоны! — И с какой-то веселой злостью разорвал книжку.

Я не успел удержать его, а книжка-то была чужая! Швырнув в сторону обрывки, отец неожиданно обнял меня.

— В воскресенье пойдем, Данилка, в одно место... там много хороших книг. Ладно?

Так я попал в народную библиотеку<sup>1</sup>, ютившуюся в небольшом домике возле городской управы. Теперь-то я понимаю, что библиотека была жалкая, бедная, но тогда она поразила меня. Множество книг стояло на полках и в шкафах — маленькие и большие, толстые и тонкие, кра-

---

<sup>1</sup> Общедоступная бесплатная библиотека.

сивые и невзрачные, новенькие и совершенно затрепанные. Сколько книг! Сколько жизней надо прожить, чтобы прочитать все! И, хотя в то время я прочитал уже кое-что из Гоголя и Пушкина, мне почему-то показалось, что все эти книги от корки до корки набиты сыщиками и привидениями. Я прямо задохнулся от радости.

Бледная девушка с гладко зачесанными светлыми волосами, в черном платье с белым воротничком стояла за деревянным барьером. Когда мы вошли, она, вскинув голову, посмотрела на нас, и глаза ее радостно вспыхнули, как будто она узнала моего отца и была рада его приходу. Но отец смотрел без улыбки, спокойно и строго.

И только позднее я узнал, что Надежда Максимовна — так звали эту девушку — действительно знала моего отца.

В этот день в мои руки и попала книга, которую я до сих пор считаю одной из лучших книг на земле. Мне кажется, что на значительную часть моего поколения «Овод» имел такое же влияние, как на послереволюционные поколения книжка о Павле Корчагине.

Вернувшись из библиотеки, мы долго сидели на крыльце, и отец, шутя, расспрашивал Леньку и Юрку о том, что мы видели в парке. Мне показалось, что на этот раз он верит нам, и это удивляло меня: верит, а сам смеется. В конце концов он действительно рассмеялся:

— Эх вы, привидения! — В темной бородке его влажно блеснули зубы. — Ну, идите! Да Подсолнышку вот с собой возьмите. У матери стирка, а мне некогда с ней погулять сегодня.

Девочка стояла между его коленями и не отрываясь смотрела ему в лицо. Прежде чем отпустить ее, он прижался щекой к ее голове, прижался тем самым движением, от которого у меня всегда щемило сердце.

Хотя у нас была целая уйма неотложных дел, мы взяли Сашеньку и пошли на Горку. Мать, оторвавшись на минуту от дымящегося горячим паром корыта — она теперь брала стирку у Гунтеров, — сказала, вытирая фартуком распаренные руки:

— Смотри, Данилка, не обижай. Уши оборву!

Подсолнышка со страхом посмотрела на мои уши и торопливо сказала:

— Не, мама... он не обижает...



*Мы улеглись головами друг к другу, приготовившись читать.*



Мы поднялись на Горку. В крутом склоне ее, на солнечном пригреве, мы еще весной выдолбили глубокую пещеру и в ненастье иногда проводили здесь целые дни, воображая себя то робинзонами, то бежавшими от преследования разбойниками.

Сегодня день был ясный, солнечный, но дул ветер, и мы решили забраться в пещеру. Разлеглись на мягком, прогретом солнцем песке, защищенные от ветра со всех сторон.

Своих сестренек ни у Юрки, ни у Ленки не было, и мы все трое заботились о моей. Даже Юрка, обычно грубоватый с девочками, относился к Сашеньке с каким-то подобием нежности.

— А у тебя, Подсолнух, глаза вроде синее стали, — сказал он.

— Я, что ли, в небушко долго глядела?

Сначала мы говорили о сиварях и домашних голубях, о Калетинском парке, о вчерашней рыбалке, а потом, когда наболтались вдоволь, Юрка сказал:

— А давайте почитаем. А? Может, интересная. Подсолнух, будешь слушать?

— Про страшное?

— Да нет.

— Я вдруг забоюсь...

— Не забоишься.

Мы улеглись головами друг к другу, приготовившись читать. Но в это время внизу, у бараков, послышался пронзительный женский крик:

— А-а-а-ааа!

Мы вскочили.

— Опять пожар!

Пожары в городе случались ежедневно, особенно летом, в июле и августе. То и дело с каланчи раздавался дребезжащий звон колокола и по улицам, давя поросят и кур, неслись красные пожарные колымаги с насосами и бочками.

Мы с Юркой сложили носилками руки. Сашенька села на них, крепко обхватив ручонками наши шен, и мы побежали вниз.

Но на этот раз ни звона колокола, ни грохота пожарных колымаг не было слышно. А женщины во дворе бараков кричали все громче, надрывнее, причитая как по

мертвому. И первое слово, которое мы услышали, добежав до барака, было:

— Война!

## 5. Война началась

Война не сразу смяла привычный уклад нашей жизни, довольно долго она шла стороной, являясь для нас, мальчишек, скорее развлечением, чем несчастьем.

В церквушке с зеркальным крестом на куполе служили молебны о «даровании победы православному русскому воинству», на улицах появились пьяные деревенские и городские «некруты» и надрывными голосами пели с уханьем и присвистом:

Трансва-аль, Трансва-а-аль, страна моя,  
Ты вся горишь в огне...

Трудно объяснить, почему именно эту песню, почти позабытую со времен Бурской<sup>1</sup> войны, снова вспомнили и стали петь в тысяча девятьсот четырнадцатом году; может быть, просто потому, что новых военных песен еще не было, а петь песни про любовь-разлуку да про любовь-измену казалось неуместным и ненужным.

Мы с отцом ходили на вокзал провожать его товарищей, взятых по первой мобилизации, в том числе Николая Степановича Вагина, Юркиного отца.

На вокзале гремел оркестр, обычно игравший по вечерам «на танцах» в городском саду и состоявший из барабана, флейты и трех труб, начищенных по случаю войны до золотого блеска.

Члены городской и земской управ, купцы Барутин и Тегин, чиновники и полицейские, стуча себя кулаком в грудь, выкрикивали напутственные речи и дарили отъезжающим на фронт иконки и махорку.

Рыженький суетливый попик, широко размахивая руками, кропил святой водой лапти и сапоги, свешивающиеся из теплушек. С покорной тоской смотрели из вагонов новобранцы.

<sup>1</sup> Речь идет об Англо-Бурской войне 1899—1902 годов, захватнической войне империалистов Великобритании против южно-африканских республик — Оранжевой и Трансвааля.

Плакали женщины и дети, слышались последние пожелания, слова прощания и наказания:

— Телку-то, говорю, продай! Продай телку-у!

— Ваня, милый!

— А Васька пушай с свадьбой годит! Кака тут свадьба. Забреют — наплачется баба!

— Вань... Вань?!

— Нюську-то поберегай!

— Агаша! Отцу отпиши обязательно... он поможет, ежели что!

— Жать Тихоновы не пособят ли...

— А гаду этому скажи — приеду, сведу счеты!

— Вань!.. Вань!

— Да милаи вы мои... да на кого же вы нас, сиротинок горьких, покидаете...

Отец мой сказал Юркиному, обнимая его:

— Береги себя, Николай... Помни, кому твоя голова нужна...

Состав ушел, скрылся в сосновом бору, но толпа не расходилась, словно люди не верили, что все это правда, словно надеялись, что уехавшие вернутся.

У Юрки дрожали губы. А мать его долго бежала за поездом, потом села на землю и заплакала.

Я завидовал Юрке, потому что Николай Степанович обещал привезти ему с войны немецкое ружье.

Отца моего на войну не взяли. У него была паховая грыжа, оперировать которую почему-то оказалось нельзя. Еще парнем, сбежав на Волгу от голодной и горькой батрацкой судьбины, как говорил он сам, он крючничал<sup>1</sup> в Самаре и Симбирске на пристанях и однажды сорвался с трапа с восемнадцатипудовым сундуком на спине. Упал он в трюм, на железные двутавровые балки. Очнулся на берегу, в тени тюков пахучего турецкого табака. Сюда его перенесли товарищи по артели, подложив ему под голову его же собственное «ярмо» — так называли грузчики колодку, которая помогала им поддерживать на спине груз. Отец попытался встать и не смог.

Когда окончилась погрузка, кто-то принес ему водки.

— Пей, Данила. Для рабочего человека — первое лекарство. Как рукой сымег!

---

<sup>1</sup> Работал грузчиком.

Но боль в груди и животе у отца не прошла, и он на пути в родное село попал в больницу в нашем, тогда еще чужом для него городке... Выйдя из больницы, пошел работать на Барутинскую мельницу и встретил там мою мать...

С вокзала, после проводов мобилизованных, отец вернулся пасмурный, хмурый, каким я его еще никогда не видел. И не то что пасмурный, а как будто почужевший вдруг, отодвинувшийся куда-то. Лег в сарайчике на топчан и долго лежал, запрокинув за голову огромные жилистые руки, глядя сквозь щели крыши в раскаленное августовское, вылинявшее от зноя небо.

...Но прошло две недели, уехали на фронт те, кому надлежало уехать по первой мобилизации, и все как будто стало по-прежнему. Только у Юрки вместо отца на мельницу ходила мамка, а сам он стал строже и взрослее.

Как и раньше, по утрам и вечерам монотонно звонили церковные колокола, гудки извещали рабочих мельниц и заводов о начале и конце смен, по улицам бродили козы и голопузые ребятишки, а над городом тысячами вились сизые голуби...

## 6. „Джемма“

«Овода» я читал сначала один; только несколько страничек, особенно взволновавших меня, прочитал Подсолнышке вслух. Когда я повышал голос, она, не понимая ничего, испуганно помаргивала своими длинными ресничками, и в глазах ее скапливались слезы, готовые вот-вот хлынуть на щеки.

Потом мы принялись читать книгу вместе с Ленкой и Юркой. Уходили на Горку, или в лес, или к Чармышу, где нам никто не мог помешать. Вблизи от тюрьмы, от могил повешенных, книга эта производила на нас особенно сильное впечатление. И мрачное здание с зарешеченными окнами, с полосатой будкой у входа и железными воротами, за которые уводили таких, как Овод, представляло перед нами в другом свете. Может быть, и здесь погибают такие же бесстрашные и гордые? Думать об этом было и жутко и радостно: вот какие бывают

люди! И здание это становилось нам ненавистным, хотя бы потому, что было похоже на то, где убили полюбившегося нам мужественного человека.

Мы прочитали книгу несколько раз, мы знали из нее наизусть целые страницы и все никак не решались расстаться с ней. Она перестала быть для нас книгой, это был целый мир живых людей.

Из библиотеки прислали наконец записку, и мы отправились туда все трое, приготовившись к тому, что нас будут бранить. Но Надежда Максимовна только спросила:

— Понравилась книжка?

У нее было забинтовано горло, и говорила она чуть слышно. Кто-то сказал нам, что Надежда Максимовна болела какой-то неизлечимой горловой болезнью.

В библиотеке никого не было, в раскрытые окна с улицы вливался зной одного из последних жарких дней того незабываемого лета, сердито гудела в углу запустевшая в паутине муха.

Перебивая и поправляя друг друга, мы принялись рассказывать о книге. Но кто-то, звеня шпорами, прошел под окном, и Надежда Максимовна остановила нас. Неторопливо ушла за книжный шкаф и вернулась с новой книгой в руках.

— А вот это нашего русского писателя Максима Горького. Здесь тоже написано про бесстрашных и мужественных людей, которые боролись за народ. Эту книгу, мальчики, надо читать и взрослым, она и им будет интересна... Только не задерживайте, пожалуйста.

Позже мы узнали, что у Надежды Максимовны жених сидит в Шлиссельбургской крепости и сама она несколько лет пробыла в ссылке в Сибири, откуда ее и перевели в наш городок, так как она заболела чахоткой. Эта новость поразила нас, мы стали каждый день бегать в библиотеку, чтобы хоть издали посмотреть на Надежду Максимовну и, если случится, оказать ей какую-нибудь услугу. И между собой стали называть ее Джеммой.

Помню один разговор, который происходил на берегу Чармыша. Мы лежали на песке, глядя в синее небо, в котором стремительно и косо носились стрижи. С воды тянуло свежестью. Над моим лицом покачивался из сто-

роны в сторону красный прутик тальника с матово-зелеными, если смотреть снизу, листочками. Полуденное солнце светило в окна мрачного здания тюрьмы, и стекла празднично сверкали, как будто за ними билось веселое, яркое пламя.

— Ребята! — сказал Юрка. — А давайте всегда как он? А? Вот надо что-нибудь сделать — и спроси себя: как бы он поступил? И так и делать...

Ленька тихонько свистнул.

— Как Овод — это надо же совсем бесстрашно, — с мечтательной завистью сказал он. — Вот где самое опасное — туда и лезть... — И улыбнулся смущенно. — Страшно ведь. А?

## **7. „А вот Овод, он не побоялся бы...“**

Однажды мать послала меня в лавочку Кичигина за солью. «Бакалейная и всякая торговля. Кичигин и сын» помещалась в угловом деревянном доме с пестрыми резными наличниками. На той стороне лавки, которая выходила на Проломную улицу, висела над тротуаром жестяная вывеска. Прикрепленная к металлическому стержню, она на ветру качалась и отвратительно скрипела — этот скрип был слышен за несколько кварталов.

— Ну, быть ненастью... Кичигин опять завыл, — говорили в городе. — Хоть бы смазал ее чем, проклятую!

На другой стороне дома, в Зуевом переулке, на таком же стержне висел позолоченный крендель — это значило, что в магазине продается и хлеб.

В кичигинском магазине действительно, в соответствии с вывеской, было почти все, что требовалось жителям близлежащих кварталов: хлеб и соль, спички и сахар, мыло и порошки от клопов, бриллиантин для усов местных покорителей сердец и церковные свечи, гвозди и сапожный вар, и еще множество всяческих товаров.

Сам Кичигин был плотный и кражистый, с важным и сытым лицом, с наплывающим на шею подбородком, с черными подкрученными, как у Ивана Поддубного<sup>1</sup>, уси-

---

<sup>1</sup> Выдающийся русский борец (1870—1949).

ками, в зеленом суконном жилете, надетом поверх красной рубахи, с жиденькими, аккуратно расчесанными волосами. Он почти всегда сидел за конторкой, читая «Биржевые ведомости»<sup>1</sup> и наблюдая, как его сын отпускает товар. И только если в магазине появлялся кто-нибудь из именитых людей города, Кичигин-отец откладывал газету и выходил к прилавку — перекинуться словом с «умным человеком».

Дверь в магазине была стеклянная, и, еще не войдя, я увидел у прилавка обтянутую черным истрепанным сюртуком сутулую спину калетинского сторожа.

Кичигин-сын, значительно подняв брови, отвечивал сторожу хлеб, а отец, играя цепочкой часов, спрашивал, когда же «его сиятельство» князь Калетин почтит своим присутствием родные места. Сторож отвечал междометиями, которые можно было понимать как угодно — как утверждение, как отрицание, как нежелание говорить.

Получив хлеб, он приподнял над головой шляпу и пошел к двери.

Кичигин-сын воскликнул:

— А мясо! Мясо-то позабыли, любезнейший! Собачку же покормить надо!

Старик вздрогнул и ничего не ответил. Бессильно махнув рукой, рывком потянул на себя застекленную дверь. Мне показалось, что на глазах у него блеснула слеза, а может быть, это было отражение движущегося дверного стекла.

Отец и сын переглянулись.

— Собачка-то, стало быть, того... — заметил отец. — И то, сколько же лет такому тварю жить положено? Не человек! — Он снова взял «Биржевку», но посмотрел поверх газетного листа. — Однако, — задумчиво протянул он, — на месте этого сторожа я и дохлой собачке мяско покупал бы. Ту-у-упой человек! Теперь же всякому ясно, что собачка — тью-тью! — И вдруг заметил у прилавка меня. — Тебе чего?

— Мамка фунт соли просила до полочки.

— Давно бы сказал! Чего торчать тут! Дай ему полфунта, Онисим. Да записать не позабудь смотри...

---

<sup>1</sup> Одна из дореволюционных буржуазных газет, которая выходила в Петербурге с 1861 по 1917 год.

— Как можно, папаша!

Взвешивая соль, Онисим, считавший себя первым красавцем и умником в городе, с томным видом поднял брови.

— Однако, папаша, позвольте заметить, что в парке их сиятельства и понадежней собаки сторожа имеются.

— Какие это?

— При-ви-де-ния-с!

Я выбежал из магазина. Мне хотелось как можно скорее сообщить друзьям новость: одним сторожем в парке меньше. Но чем дальше от магазина я уходил, тем медленнее шел. Собак мне всегда было жалко. Разве зря говорят: собака — друг человека. Я начал припоминать всех собак и кутят, которые жили и подошли во дворе нашего барака, их повадки, их звериную верность, ум. И вдруг мне стало до слез жалко и не только собаку — ей теперь все равно, — а ее осиротевшего хозяина. Я вспомнил, как горестно сторож махнул рукой. Для него, одинокого, этот пес, наверное, был единственным дорогим существом в мире.

— В имении собака подохла, — мрачно сказал я матери, отдавая соль.

— Ну и что же? — спросила она с удивлением.

— Жалко.

— Эх, Данька, Данька! — вздохнула мать. — Когда ты поумнеешь? Людей надо жалеть, а не собак. Она вон мясо каждый день жрала, а мы раз в неделю.

— Мне и нас жалко.

Из уголка за кроватью вышла Сашенька в желтом ситцевом платье.

— И мне жалко! — сказала она и, растопырив пальцы, закрыла ладошками лицо.

Я присел возле нее на корточки, мне не хотелось, чтобы она плакала. Спросил:

— Гулять со мной пойдешь?

Не отводя рук от лица, она посмотрела на меня сквозь пальчики сначала с недоверием, потом с радостью:

— Пойду, пойду!

Мы отправились искать Леньку и Юрку. Они сидели в нашем дровяном сарайчике и плели из конского волоса лески.



Полосы солнечного света, падавшего в щели, разрезали пыльный сумрак сарая на отдельные пласты.

Я сказал ребятам о собаке, они вначале обрадовались, а потом им передалось мое настроение.

Сашенька качалась на качелях — специально для нее мы привязали к перекладине под потолком веревку. Качели то вылетали в полосу света у двери — и при этом каждый раз Подсолнышка счастливо жмурилась, — то улетали к стене, в тень, и тогда девочка широко открывала глаза.

Я смотрел, как ловко Ленька одной рукой ссучивает на коленке леску. Я бы никогда, наверное, не научился так.

— Собаку, конечно, жалко. Вот если бы привидение подошло — это бы да! — мечтательно сказал Ленька.

Юрка усмехнулся:

— А как бы мы узнали, что привидение подошло? Мяса-то ему никто не покупает!

Помолчали.

— А вот Овод, он не побоялся бы никаких привидений! — тоненьким голоском продолжал Ленька, старательно ссучивая на колене три конских волоса. — Он бы их бац! бац! И все! Правда? — Облупленный, обветренный, похожий на живую пуговку носик Леньки покрылся капельками пота. — Он бы им дал!

Мы с Юркой переглянулись, вспомнили о нашей клятве — быть всегда как Овод.

Подсолнышка летала взад и вперед, а я, стоя сбоку, следил за ней, готовый подхватить ее, если качели подврут.

Юрка еще раз посмотрел на меня, вздохнул, его широкие брови сбежались к переносице.

И опять качели летали взад-вперед, от стены к распахнутой двери и обратно, полосы солнечного света скользили по босым ножонкам Подсолнышки, по ее платьицу, по белым, развевающимся волосам.

Высунув от усердия язык, Ленька сматывал на палочку готовую леску. А Юрка сидел задумавшись, напряженно глядя в дверь сарая, на мельничную крышу, на карнизе которой сидели голуби. Потом повернулся ко мне и не очень уверенно предложил:

— Пошли сегодня?

Я кивнул, хотя и почувствовал, что мне становится страшно.

Ленька спрятал в карман леску, встал и отряхнул штаны.

— Когда? — с готовностью спросил он.

— Да не сейчас, — нехотя отозвался Юрка. — Ночью, наверное.

— А куда?

— В парк...

Ленька тихонько свистнул и сел на старое место. Во все глаза смотрел то на меня, то на Юрку, как бы стараясь угадать: кого из нас раньше слопают привидение. И вдруг сказал самое умное из того, что мы до этого говорили о таинственном обитателе Калетинского сада:

— А ведь днем-то привидение, наверное, спит? А?

## 8. „Скушно...“

В полдень, когда я собрался нести на мельницу обед, Подсолнышка попросилась со мной:

— Мам, а я? Я ведь большая теперь...

Но мать с ласковой строгостью, которая так красила ее, сказала:

— Без руки остаться хочешь? Как Ленька? Маленьким там враз руки отрезает — только приди.

Подсолнышка посмотрела на свои ручонки, спрятала их за спину. Из-под разлетающихся на ветру льняных волос поглядела на меня с завистью.

— Ты, Дань, скорее. — Подошла, потрогала пальчиком мою руку. — А то — принес бы одного голубеночка... Скушно...

— Какие же сейчас голубенки? — рассмеялся я. — Они весной бывают.

— А почему не всегда?

Я не сумел ей ответить, и она помолчала немного, наблюдая, как мать увязывает в полинялую тряпку чугунок с горячей картошкой.

— Ну, тогда большого...

— А большой, он жить все равно не станет. Улетит.

— Ну, я подержу немного и пушу... Принесешь?

Ленька и Юрка ждали меня на улице. Обогнув мельничный двор, мы вышли к Калетинскому пруду и, будто сговорившись, одновременно посмотрели на другую сторону. Словно заколдованное царство, зеленым дремучим островом высился там парк.

— Сейчас бы и идти, — шепотом сказал Ленька. — Оно аккурат спит...

Я согласился, но Юрка свел к переносице свои широкие брови и возразил:

— Сейчас увидят... Вон он, злыдень, поплевывает. — И Юрка кивнул в сторону моста, где, облокотившись грудью на перила, стоял в своей неизменной, заношенной до дыр шинели Гошка-солдат и с усердием старался плюнуть как можно дальше в воду.

Мы прошли под широкой аркой мельничных ворот. На нижней ступеньке недавно выкрашенного желтого крыльца своей квартиры сидел Валька Гунтер. В матроске, в коротеньких штанишках и желтых сандалиях, он, сопя и пыхтя, ковырял игрушечной саблей землю. Мы теперь часто играли в войну с немцами, и у всех у нас завелись деревянные сабли и ружья, только у Вальки, возбуждая всеобщую зависть, была совсем как настоящая, в сверкающих ножнах и с портупеей, жестяная сабля и ружье, из которого он стрелял пробками по голубям. Правда, к великой нашей радости, он никогда в них не попадал.

В главном корпусе было прохладно, хотя от пыли, наполнявшей воздух, трудно дышалось. Мы разошлись, чтобы отдать принесенный обед, договорившись собраться на чердаке и поймать Подсолнышке голубя.

Но, прежде чем ловить голубя, мы, как всегда, улеглись у окна и долго с замирающим от высоты сердцем смотрели вниз. То лето было удивительно жаркое, и даже в сентябре город как будто тонул в дрожащем мареве зноя. Дрожало далекое пятнышко Святого озера, дрожали крыши домов, церковь, дрожал Тюремный замок, огромным красным камнем брошенный в уже пожухлую зелень причармышенских лесов.

На площади у церкви обучали новобранцев. Они ходили, бегали, ложились, вставали на колени, делая вид, что стреляют, потом яростно кололи штыками кого-то

невидимого. Это было очень интересно, и мы решили, что с мельницы пойдем туда.

Я посмотрел влево. За кирпичным обрезом мельничной стены виднелся наш барак и крылечко, на котором сейчас желтело платье Сашеньки.

Голубей мы поймали легко: сетка была большая, и, когда я, спрятавшись в углу, дернул за нитку, привязанную к верхнему краю нашей западни, сеть сразу накрыла двух птиц. Я и Юрка посадили по одному голубю за пазуху, подтянули потуже пояса и побежали вниз.

Перерыв кончился, мельница снова работала полным ходом. В верхних этажах, под кожухами, безостановочно крутились вальцы, в нижних, мягко шурша, колебались сита, ковшовые зернотаски ползли и ползли вверх, подавая на шестой этаж зерно. И на всем лежал слой мучной пыли, которую безостановочно сметали подметалы.

Нам пришлось постоять у переезда: зеленый паровозик, с трудом выдыхая клубы пара, тащил на станцию вагонетки с мешками муки. Барутин поставлял теперь муку для армии, и на мельнице вполголоса говорили, что он подмешивает в муку пыль, которую с шести этажей сметают подметалы, и что на это подговаривает его Гунтер. Все ждали, что преступление вот-вот откроется и Барутина с Гунтером засадят в тюрьму. Но дни проходили, складывались в недели и месяцы, а Барутин и Гунтер по-прежнему разъезжали по городу в своих кабриолетах, на тонконогих, резвых жеребцах.

Пока мы ждали у ворот, Валька загоревшимися, завистливыми глазами смотрел на наши оттопыривающиеся рубахи. Потом, покосившись на окна своего дома, подошел к нам.

— Продай голубя, — сказал он, переводя взгляд с меня на Юрку.

— А что дашь? — спросил я, хотя вовсе не собирался продавать ему голубей.

— Гривенник дам. Серебряный. У меня в копилке много.

Я посмотрел на Юрку и Леньку. На гривенник можно было купить сотню рыболовных крючков, наестся пряников, даже сходить на галерку в «Экспресс», где тогда показывали двенадцатую, самую интересную серию

«Таинственной руки». Яркие, цветные афиши, расклеенные на всех заборах, волновали наше воображение: над сонным, безлюдным, утопающим в голубых сумерках городом угрожающе распростерта зловещая сиреневая пятерня. Я до сих пор помню эту пятерню так ярко, словно видел ее вчера.

Соблазн был велик. Я подмигнул Юрке: продай! Своего голубя, я, конечно, не мог продать: его ведь ждала Подсолнышка.

— Пятиалтынный! — решительно и зло сказал Юрка.

Через десять минут мы шли со двора, по очереди исследуя пятнадцатикопеечную монету. Пробовали ее на зуб, били о мостовую, — нет, кажется, она не была фальшивой: при ударе о камень звенела, как настоящее серебро.

Но оказалось, что три билета в кино на пятиалтынный купить нельзя, и мы долго гадали, на что же его истратить. Из лавочки Кичигина нас выпроводили быстро. Заметив наши рыскающие по полкам взгляды, хозяин спросил:

— Вам чего? Хлеба? Соли?

— Не-е-ет...

— Онисим! Гони их. Сопрут чего.

Мы отправились в другую лавчонку, к веселому круглолицему купчику «Карасев и К°», но и там ничего не могли выбрать. Тогда наконец Юрка сказал:

— А ну их к черту, эти покупки! Знаешь, Данька, давай возьмем колбасных обрезков твоему Подсолнуху, А? Больно уж она у вас тощая!

Я уж и сам давно думал о Подсолнышке, и Юркино предложение обрадовало меня. Однако, сохраняя гордость, я отвернулся и безразлично кивнул в ответ:

— Что ж, можно...

Мы купили обрезков колбасы — это было самое дешевое лакомство — и немного ландрина — кисленьких леденцов, попробовали и то и другое и отправились на площадь.

От церкви на булыжную мостовую падала большая, похожая на безногого человека тень. В этой тени, вдоль кирпичной, с отверстиями в форме крестов ограды, отдыхали новобранцы. Составленные пирамидками, стояли поодаль учебные ружья. Мы попытались подобраться

к ним ближе, но усатый унтер, расхаживавший вдоль забора, так цыкнул на нас, что мы убежали за ограду.

Усевшись в тени, стали ждать, когда солдаты снова примутся за прерванные занятия. Правда, к нашему сожалению, это были еще не настоящие солдаты, а деревенские мужики в лаптях и домотканых рубахах. Перематывая онучи и куря, они негромко говорили о том, что «вот хлеб пропадает, убирать некому, а ты бегай тут, как кобель»; о том, что «на Терехина пришла из казны бумага: «Погиб под немцем»; о том, что и «последних лошадей, по слухам, возьмут на царскую службу».

От этих разговоров становилось тревожно и тоскливо, и война, которая раньше представлялась героической борьбой против «исконного врага России», теперь казалась нам бесчисленным количеством несчастий бедных людей.

Голубь теплым комочком пошевелился у меня за пазухой, и я вскочил, вспомнив про Подсолнышку. Пообещав ребятам сейчас же вернуться, я вприпрыжку побежал домой. Сашенька сидела на завалинке: солнце с полдня уже не освещало крыльца. Она очень обрадовалась и голубю и гостинцам, а когда я рассказал, где мы достали деньги, она озабоченно спросила:

— А он его выпустит?

— Валька?.. Конечно, выпустит. Зачем же он ему?..

Голубя Подсолнышка напоила, накормила, как всегда мы кормили голубят, жеваным хлебом прямо изо рта, а потом вышла на крыльцо и поставила его себе на ладони. Голубь не торопился улетать, он поворачивал из стороны в сторону красивую голову и только потом, взмахнув крыльями, поднялся на мельничную крышу, где, усевшись в ряд с другими голубями, заворковал.

— Смотри, Дань... Это он хвалится, как я его кормила. Да? — сказала Подсолнышка.

## ***9. „Вы должны быть смелыми“***

И все же проникнуть в парк оказалось не так просто, как мы думали. Днем на пруду всегда былолюдно, а вечером, когда спадала жара, здесь собиралось почти все

свободное от работы население Северного Выгона. Как и Горка, берег пруда в летнее время был своеобразным рабочим клубом — здесь можно было услышать о скором «замирении с немцем», о геройстве Кузьмы Крючкова<sup>1</sup>, о большевиках, которые требуют мира, об убитых и раненых, о пропавших без вести.

На закате осоками на том берегу, освещенные тревожным светом, стояли как будто объятые пламенем, и ни одного признака жизни не угадывалось за ними. Купальня погружалась в тень, остовами больших дохлых рыб темнели рядом с ней полуистлевшие лодки. Тени поднимались, затопляя парк, — он как бы отдалялся от нас, становился все более недоступным.

Пробрались мы в парк рано утром, когда и улицы и берег пруда безлюдны, когда вместе с росой испаряются ночные страхи и когда, по словам Леньки, «привидения ложатся спать».

Мы приготовили длинную крепкую веревку с толстым железным крюком на конце. Крюк надо было закинуть на ограду, с помощью веревки вскарабкаться наверх и спрыгнуть на ту сторону, в парк. Ленька с его одной рукой и помышлять, конечно, не мог о таком способе проникновения в обиталище привидений, и мне показалось, что он впервые порадовался тому печальному обстоятельству, что у него осталась одна рука.

Накануне мы случайно встретили на рынке Надежду Максимовну и рассказали ей о том, что сами видели привидение.

Худая, больная, с перевязанным горлом, она долго и чуть слышно смеялась, а потом сказала серьезно:

— Не знаю, что вы там видели... Но запомните: никаких привидений нет.

— Вот и мы... — не вытерпел Юрка. — Мы и хотим, тетя Надя... Вот пойдем и посмотрим... А что?

— И не боитесь? — с любопытством спросила Надежда Максимовна.

— Ну что вы! — хвастливо крикнул Юрка, но сейчас же осекся и покраснел.

— Молодцы, — негромко сказала девушка. — Это хорошо... Вы должны быть смелыми.

---

<sup>1</sup> Донской казак, отличившийся в первой мировой войне.

Заснуть в ту ночь мы так и не смогли. Синеватый сумрак сочился в сарай сквозь щели в стенах, глухо гудели мельничные корпуса, одиноко и ужасно тоскливо гудел вдали паровоз...

Когда стало светать, взяли удочки, сачок, банки с червями, всю свою немудреную рыболовную справу и пошли к пруду.

Решили, чтобы не привлекать к себе внимания, накопать на плотине червей. Накопали, поглядели по сторонам. А через полчаса мы с Юркой уже стояли в парке.

Кроны деревьев сплетались высоко над нашими головами, образуя шатер. Узорчатые папоротниковые заросли достигали высоты нашего роста. Почти непроходимой колючей стеной поднимался малинник.

Медленно, осторожно, бесшумно, как настоящие разведчики, ползли мы в траве, мокрые от росы, замирая при каждом шорохе, пугаясь шелеста падающего с дерева листа и стука собственного сердца.

Где-то всходило солнце, далекое-далекое небо розовело, словно в каком-то другом краю.

Подползли к дому. На лужайке перед террасой, в круглом, истрескавшемся бассейне, стоял бронзовый позеленевший мальчик, сжимающий обеими руками большую рыбу. Из зарослей лебеды и крапивы торчали спинки мраморных скамей. Запустением веяло от каждого камня, от облупленных колонн, от темных окон, смотревших на нас с пристальной неподвижностью. Между каменными плитами широкой, спускающейся в парк лестницы пробилась трава, и даже тоненькая березка выросла рядом с одной из колонн.

Было очень тихо, только колотилась, шумела в ушах кровь.

Мы долго лежали, вслушиваясь, стараясь угадать, откуда грозит опасность. Но все оставалось спокойно и мирно.

Потом поползли дальше, огибая дом с правой стороны. Вскоре стали видны массивные ворота, а еще правее — маленький белый домик, это и было, вероятно, жилище сторожа.

В конце концов все это оказалось не так страшно. При разгорающемся свете дня ни о каком привидении не приходилось и думать, оно, вероятно, мирно похрапы-



вало где-нибудь на чердаке или в подвале. Мы с Юркой становились смелее: от сторожа-то нам ничего не стоило убежать к пруду и там, бросившись в воду, уплыть.

Домик у ворот был, по-видимому, единственным обитаемым местом в парке: к двери вела чуть заметная тропинка, и жалкое, полуистлевшее подобие занавески покачивалось в открытом окне.

Перескочив через мощенную кирпичом центральную аллею, мы присели в кустах, прислушиваясь.

Ничто не нарушало кладбищенской тишины парка, только мирно и знакомо перекликались в ветвях птицы.

И вот тут-то в десяти шагах от нас, на крошечной полянке, кое-как расчищенной от кустарника, мы увидели калетинского сторожа. Он сидел у старой липы, прислонившись к ней спиной и глядя перед собой неподвижными глазами. Поднимающийся ветерок шевелил пепельно-седые реденькие волосы. Рядом с ним желтел небольшой холмик свежевскопанной земли. Холмик еще не успел порости травой, он был аккуратно оправлен, как принято оправлять могилы. Прислоненная к стволу старой дуплистoy липы, рядом со скамьей стояла лопата.

Мы окаменели от страха. Казалось, что голова сторожа поворачивается в нашу сторону, что его глаза искоса разглядывают нас.

Но старик сидел неподвижно.

— Спит, что ли? — прошептал Юрка.

И, словно этот шепот толкнул мертвое тело, оно стало медленно опрокидываться на правый бок.

Не знаю, сколько времени мы простояли, скованные тем суеверным ужасом, который всегда охватывает живых в присутствии мертвого. Потом, пятась, ушли от умершего, как будто боялись потревожить его покой.

В белом домике, где сторож жил, мы нашли большой белый халат с капюшоном, неумело сшитый мужскими руками, — так просто объяснилась тайна привидения... Видимо, желая отпугнуть от парка воров и хулиганов, сторож надевал белый балахон и в таком виде ночью бродил по аллеям.

На столе лежал кусок кичигинского хлеба, кривой садовый нож, связка разных по размеру ключей и старенькая, заляпанная воском библия — все, что осталось от человека, который сейчас неподвижно лежал в саду.

## 10. Там, где жило „привидение“

Выбравшись из парка, перейдя по плотине на мельничную сторону, мы долго смотрели оттуда на зеленую, уже тронутую осенним золотом стену осоко-рей. Удивительное дело, теперь все таинственное очарование, вся прелесть этого места для нас пропали. Я отчетливо представлял себе, как там, в зеленой чащобе, подмяв под себя старенькую шляпу, уткнувшись головой в свежевскопанную землю, лежит никому не нужный человек. И то, что об этом никто, кроме нас, не знал, придавало происшествию необыкновенную значительность.

Был воскресный день, и на пруду собралось много людей. Крича и визжа, на песке боролись знакомые мальчишки, — такими смешными, такими неинтересными показались мне эти забавы.

— Так и лежит?.. Один? — шепотом спросил Ленка.

Ни я, ни Юрка ему не ответили, и он, посапывая, долго, не отрываясь вглядывался в Калетинский парк.

Когда я вернулся домой, отец собирался идти с Подсолнышкой гулять. В желтом в белую горошину платье Сашенька уже сидела у него на плече и с видом превосходства поглядывала оттуда на всех.

— Что это с тобой? — встревожился отец, увидев меня.

— А чего? — независимо спросил я.

— Прямо лица на тебе нет...

Я негромко, чтобы не слышала Сашенька, рассказал о том, что мы видели в парке.

Отец долго молчал, степенно вышагивая, ласково поглядывал вверх на сиявшую от счастья Подсолнышку. Я шагал рядом, стараясь попадать в ногу с ним, но все время сбивался.

— Ну, вот что, сын, — сказал отец. — Вы обо всем этом помалкивайте... Юрке и Ленке тоже скажи. А то и вам попадет и родителям достанется. Слышишь, Данил?

— Слышу, — не очень уверенно ответил я.

— Ключи у него на столе?

— Да.

— Не видел — от калитки в Вокзальный переулок ключ там?

— А зачем?

— Да так. На мельнице у меня замок валяется, может, подгоню... все, глядишь, на базаре двугривенный дадут.

— Ладно, завтра посмотрим, — пообещал я.

И утром на следующий день мы с Юркой снова были в парке. Теперь-то мы ходили по нему как хозяева! Издали взглянули на сторожа — он все так же лежал на боку, и так же шевелились волосы на его голове. На ветке липы над ним, косо поглядывая вниз, сидела ворона. Эта ворона испугала нас, пожалуй, больше, чем день назад мертвое тело. Мы прогнали ее и долго сидели в кустах, боясь, что она прилетит снова.

Потом прошли в сторожку за ключами. К калитке подошел только один ключ — и тот ржаво скрипел и едва поворачивался. Мы взяли его и отправились бродить по парку, лазать по сараям и каретникам. Заглядывали в давным-давно немытые окна. За ними смутно угадывалась мебель в чехлах, мертво блестели зеркала.

Увлечшись, мы не сразу слышали стук в калитку и громкие голоса, зовущие сторожа.

Мы едва успели спрятаться в кустах и оттуда наблюдали, как толпа любопытных робко жметя к ограде, заглядывая во двор.

В воротах стоял городской Лобзаков, отгоняя зевак. А во дворе, громко разговаривая, расхаживали чиновники и полицейские. Тут же вертелся Кичигин, который, как мы поняли из разговоров, донес сегодня в полицию, что сторож калетинского дома не появляется в магазине вот уже несколько дней. Заподозрив неладное, полиция и явилась «на место происшествия».

Мертвого сторожа вскоре нашли, и через час, грохоча окованными колесами, во двор въехала ломовая колымага Ахметки Кривого. Тело взвалили на телегу, покрыли мешковиной и увезли. Затем все двери опечатали сургучными печатями, ворота и калитку забили досками крестнакрест. И мы с Юркой опять остались одни.

Теперь весь Калетинский парк как бы стал нашей полной собственностью. Правда, нам было все-таки немного жутковато в этом пустынном месте, где так недавно умер человек, но постепенно этот страх прошел, и непобедимая, неистребимая мальчишеская любознатель-

пость принялась водить нас всюду, куда мы только могли проникнуть...

В подвале, куда нам удалось пролезть через разбитое окно, мы нашли целые горы пустых бутылок с нерусскими этикетками. Старая, отслужившая свой срок мебель — диваны и кресла, из которых торчали пружины, — всевозможные бочки и корзины, картины с облупившейся краской, конторские книги, два или три окованных по углам сундука, — все это было покрыто, словно серым снегом, толстым слоем пыли. Пятна беловато-зеленой плесени цвели на стенах, напоминая географические карты неведомых материков. Чудовищные тенета паутины, похожие на рыбацкие сети, висели во всех углах.

Ключ от калитки я занес отцу на мельницу в обеденный перерыв. Он взял его, даже не взглянув, и молча сунул в карман. Это, помню, меня очень обидело.

Когда мы с Юркой и Ленькой, возвращаясь с мельницы, проходили мимо дома Гунтеров, на крыльцо выбежал Валька и, протягивая нам сверкающую монетку, закричал:

— Продай голубя!

— А зачем? — спросил я, охваченный неясным и недобрým предчувствием. — У тебя же есть...

— Я его стрелял моим ружьем! — гордо сказал Валька и показал нам маленькое, изящное, блестящее никелированными частями ружьецо. — Пробками... стрелял...

Все, что произошло дальше, я помню смутно: темная, слепая сила вскинула меня на крыльцо. Я схватил Вальку за грудь, повалил и принялся избивать кулаками по голове, по плечам, по спине, по всему, до чего могли достать руки. Очнулся только тогда, когда Юрка оторвал меня от Вальки и потащил к воротам.

Валька ревел во весь голос.

Звенели стекла окон, хлопали двери, из дома с криком бежали перепуганные женщины.

Сидя на берегу пруда, всхлипывая, я долго не мог прийти в себя. Юрка, хмурясь, бросал в воду камни. Зеленая тина, покрывавшая воду у берега, на секунду раступалась там, где падал камень, а потом снова нехотя смыкалась.

Я со страхом думал: что же теперь будет? Как буд-

то прямо перед собой я видел взбешенное, багровое лицо Гунтера, представлял, как отца выгоняют с мельницы, а семью нашу выкидывают из барутинских барачков.

Вероятно, так бы все и было, если бы не шла война и если бы Гунтер не был немцем. Но он уже давно собирался куда-то уехать, и как раз на следующий день, на наше счастье, Гунтеры и уезжали.

## ***II. Опять привидение!***

А жизнь шла своим чередом.

Возвращались с войны калеки, уходили на фронт и безусые парни и старые, с серебрянкой в волосах, мужики. На заборах и стенах время от времени расклеивали манифесты, воззвания, обращения — к купечеству, к мещанству, к «простым гражданам России». И с каждым днем становилось все труднее жить, все горестнее смотрели на нас глаза матери, и с каждым днем таяла и худела маленькая наша Подсолнышка.

Осенняя стужа крепко заперла Сашеньку в четырех стенах жилья, она опять стала заниматься своими «игрушками» в уголке за отцовской кроватью, тихая, милая и ласковая.

А мы с Юркой эту зиму не учились: пошли работать. Вначале это тоже казалось чем-то вроде игры — было ново и интересно сознавать себя почти взрослым, утром вставать с отцом по гудку, завтракать с ним и вместе шагать по лужам, уже хрустящим первым ледком. Вместе мы подходили к воротам мельницы, где теперь всегда стояли вооруженные солдаты. Мельница работала безостановочно круглые сутки, все ее амбары и склады были забиты зерном и мукой. Отсюда, в центр России и на фронт, еженедельно отправлялось несколько эшелонов с мукой.

Мельница, этот огромный шестиэтажный мир, пропитанный душной мучной пылью, мир, где мы раньше бывали только незваными, непрошеными гостями, постепенно становился для нас чем-то вроде второго дома, пусть чужого, пусть принадлежащего не нам.

На голубятню в эту зиму мы почти не лазали. Рабо-

ты оказалось много, да и невозможно было спрятаться от бельмастого oka Мельгузина, особенно зорко следившего за молодыми рабочими. При малейшем поводе Мельгузин изводил нас негромкой ехидной бранью — он не кричал, не шумел, как другие, а тихим, елейным голоском пилил и пилил, приводил даже какие-то тексты из священного писания, и здоровый глаз у него при этом светился желтым, злым блеском. Приставал он с такой бранью и к взрослым, только отца моего заметно побаивался, называл по имени-отчеству и никогда не смотрел ему прямо в лицо.

— Выслуживаешься, Савел Митрич? — спрашивал иногда отец, усмехаясь одним углом рта.

— Не себе — отечеству, — неясно отвечал Мельгузин и, торопливо шаркая подошвами козловых сапожков, уходил, чуть выставив по привычке вперед левое плечо.

...Зима пролетела незаметно.

По воскресеньям, усадив Сашеньку на самодельные санки, я катал ее по городу, и мне никогда не забыть того щемящего чувства горькой радости, которое я испытывал во время этих прогулок.

Сашенька так умилялась всему, что видела, — и снегу, и солнцу, и птицам, что у меня начинало щипать в горле. Эти прогулки и остались для меня самыми памятными, самыми дорогими воспоминаниями той зимы.

Весна с ее мутными шальными ручьями, с половодьем на Чармыше, когда огромные синевато-серые льдины со стеклянным скрежетом трутся одна о другую, рыбалка наметкой, выпрошенной у кого-нибудь из рыбаков «на часок», первые подснежники, которые мы приносили Подсолнышке, весна, когда так необходимо, рискуя свалиться в воду, поплавать на льдине, походить по голому, еще не одетому листвою лесу, — эта весна и меня и Юрку снова превратила в мальчишек. Вдруг оказалось, что мельница — та же тюрьма, как замок на берегу Чармыша, с его слепыми окнами, с его молчаливой и глухой тоской... И, когда солнечный луч, случайно пробившись сквозь запыленное стекло, живым дрожащим лезвием рассекал пыльный полумрак внутри мельничного здания, совершенно неодолимым становилось желание убежать отсюда, лечь где-нибудь на берегу реки, уткнуться лицом в первую весеннюю траву.

Но вот прошла и весна. И опять кружились в синем небе тучи сиварей, и опять трезвонили в церкви колокола, и опять зеленел на той стороне пруда «наш» парк.

Летом снова стали поговаривать, что по ночам в парке появляется привидение — не находит себе места тоскующая душа самоубийцы. Надо сказать, что дочь Калетина, по слухам, похоронили в самом парке, так как самоубийц хоронить на кладбище по законам того времени было нельзя. Но мы с Юркой прекрасно знали, что никакого привидения в парке нет, и потихоньку посмеивались над людьми, которые верили слухам.

Однажды мы решили еще раз побывать в парке.

Вечер был, помню, тихий, безветренный, словно природа прислушивалась к чему-то. Высоко в небе не то плыло, не то стояло единственное облако, подожженное с одного края пожаром заката. Монотонно звонили в кладбищенской церквушке колокола. Тысячами летали над городом голуби.

И, хотя где-то продолжалась война, здесь, на берегу пруда, как и всегда, громко и беспокойно кричали мальчишки.

Мы задумали попугать ребят, которые, все больше смелея, с каждым днем ближе подплывали к Калетинскому парку. Для этого надо было взять белый халат сторожа, который так и остался висеть на стене, нацепить этот балахон на какую-нибудь палку и так пройти по берегу пруда.

Леньке мы велели наблюдать, какое впечатление произведет на купающихся появление «призрака».

В парк проникли легко: еще с прошлого года в зарослях бурьяна осталась наша лазейка под стеной, куда, хотя и с трудом, можно было протиснуть тело.

Но все вышло не так, как нам хотелось.

В парке, как всегда, было тихо. Сквозь чащобу ветвей и кустарников едва пробивались звуки гармошки и голоса людей с мельничной стороны.

Солнце село. За могучими стволами деревьев краснели рваные горящие облака. Вдали, отражая небо, блестели высокие окна водокачки, напоминавшие жерла скалочных пылающих печей.

Мы с Юркой давно уже ничего в парке не боялись.

Не прячась, зная, что никого не встретим, мы вышли на центральную аллею, мощенную кирпичом. Под нашими ногами в неярком свете карманного фонарика зеленела в щелях между истрескавшимися кирпичами трава. Ветки кустарников цеплялись за нашу одежду.

Мы воображали себя отважными путешественниками, которым не страшны никакие опасности, никакие враги. К этому времени мы благодаря Надежде Максимовне прочитали много книг об увлекательных путешествиях, о смелых и сильных людях, и мечтали тоже стать сильными и смелыми матросами или путешественниками, и объехать вокруг света.

Слева, низкая, еще невидимая за деревьями, светила луна. Казалось, что паутинки лунного света натянуты между деревьями, в листве над нашими головами, между колоннами белевшего невдалеке дома.

И вдруг я почувствовал, как сердце мое остановилось. Я ничего не мог выговорить и схватил Юрку за руку. Он посмотрел туда, куда с ужасом смотрел я, сдавленно вскрикнул и прыгнул в сторону, в кусты. А я стоял и смотрел, как навстречу мне медленно двигается по главной аллее что-то высокое и белое. Перепуганный, в полумраке я не мог разглядеть подробностей, но отчетливо видел белую фигуру, похожую на колеблющийся столб тумана... Когда привидение поравнялось со мной, я крикнул, рванулся в сторону, зацепился за что-то ногой, упал и ударился головой о валежину.

Когда я пришел в себя, чьи-то сильные руки несли меня неизвестно куда. Шаги гулко отдавались под низкими каменными сводами. Пахло плесенью и залежалой пылью.

Я не открывал глаз, все во мне замирало. Но вот сквозь закрытые веки я ощутил слабый свет, негромкий говор нескольких голосов. Меня осторожно опустили на что-то жесткое. И голос, от которого я радостно вздрогнул, голос моего отца, глухо и виновато сказал:

— Вот, полюбуйтесь!

— Ваш Даня?! — удивилась женщина, и я узнал голос Надежды Максимовны. — Что ж... Этого следовало ожидать.

Открыв глаза, я увидел ее склоненное лицо, добрые и печальные глаза, белоснежную повязочку вокруг горла.



Около сундука, на котором я лежал, толпилось еще несколько человек — литейщик Митин с хохряковского завода, дядя Миша, машинист, который водил на станцию и со станции мельничный поезд, кто-то еще. Все они неодобрительно смотрели на моего отца. Потом один за другим отошли в сторону, а я закрыл ладонями лицо и неожиданно для себя самого заплакал, как маленький.

Надежда Максимовна стала гладить меня по голове горячей рукой, — рука пахла остро и терпко.

Я вспомнил листовки, которые пахли так же, и жар бросился в лицо мне от неожиданной догадки.

Через полчаса отец вывел меня из подвала, где помещалась типография. Перед тем как отпустить, прижал меня к себе, сказал:

— И чтобы ноги вашей никогда здесь больше не было. Ясно? Проболтаешься — мне каторга или виселица! Понял?

Отец легонько толкнул меня в плечо широкой теплой ладонью:

— Иди.

— Ладно, — буркнул я. — Только... я все равно знаю, чего вы тут делаете.

— Ну-у? — деланно удивился отец.

— Знаю... Листовки печатаете... И, когда тех повесили, знаю, куда ты ночью ходил...

— У-ух ты! — Но на этот раз за деланной шуткой отца звучало тревожное удивление.

— Я ведь понимаю... Я делал бы что-нибудь, а?..

Помолчав, отец глухо сказал:

— Ладно. Иди.

Царапая спину о камни, я прополз в подкоп и через минуту стоял на булыжной мостовой переулка, щедро залитой желтым светом луны.

Юрку я нашел у пруда, на штабеле досок. Он уставил-ся на меня, как на вернувшегося с того света.

Я сел на доски. Юрка спросил шепотом:

— Оно?

— Еле удрал! А мы не верили...

Мне было трудно говорить Юрке неправду, но нарушать слово, данное отцу, я не мог.

## 12. Оля Беженка

Жизнь в городке становилась все труднее и голоднее. Теперь при выходе с мельничного двора всех обыскивали, а посторонних во двор вообще не пускали: каждый норовил унести оттуда горсть муки или зерна. И вот тут-то в воротах, вскоре после происшествия в парке, я и встретил впервые Ольгу.

Это была девочка лет четырнадцати, худая, большеглазая, с тяжелой светлой косой, серьезным, почти суровым лицом. Преждевременная суровость ее лица странно подчеркивалась затаенным детским испугом, который угадывался в изгибе мягких, припухлых губ, в немногo удивленном и обиженном взлете бровей.

В проходке во время обыска я увидел, как эта незнакомая мне девочка побледнела вдруг и прислонилась плечом к стене. Она работала тогда первый день и не знала, что в воротах будут обыскивать.

На ее счастье, в тот день женщин обыскивала тетя Паша, рыхлая, грузная и крикливая женщина, по прозвищу Титиха. Она прожила очень трудную жизнь и хорошо знала, почем фунт лиха. У нее было шесть человек детей, она растила их одна, без мужа: несколько лет назад он свалился с лесов и разбился насмерть. Собственные горести научили тетю Пашу понимать чужую беду.

Ощупывая широченными ладонями тоненькую фигурку Оли, тетя Паша вскинулась, хотела что-то сказать, но, увидев худое лицо девочки, только спросила:

— Новенькая, что ли?

— Новенькая. — Это шепотом, почти неслышно.

— Беженка, видать?

— Беженка.

— Отец-то воюет?

— Убили...

— Ах ты боже мой! Ну, иди...

Бескровное лицо Оли дрогнуло, влажные глаза блеснули трепетным благодарным блеском, и она, склонив голову, поспешно пошла за ворота.

Я догнал ее на углу.

— Смотри! Это только при ней можно, а то выгонят... — строго сказал я. — А заметят, так и ее выгонят.

Девочка испуганно оглянулась на меня. Пошла быстрее.

— Ты меня не бойся, — сказал я, опять догоняя ее.

Она остановилась, с детской надменностью вскинула голову. Волосы ее казались седыми от мучной пыли, и вся она, сердитая и испуганная, была похожа на маленькую старушку. Она фыркнула и сказала:

— Так и забоялась! Ишь, грозный какой! Чего причепился?

Говорила она с белорусским акцентом.

Несколько секунд мы в упор смотрели друг на друга. У нее были большие зеленые, измученные глаза. Я первый отвел взгляд и, вероятно, поэтому почувствовал себя смущенным. Сказал:

— Дура! — повернулся и пошел к дому.

Она оглянулась мне вслед:

— Сам умный...

Ночью, прежде чем заснуть, я все думал и думал об этой девочке и, даже засыпая, видел ее глаза, зеленые и строгие.

До этого я не замечал девчонок, словно мир был населен только взрослыми людьми и мальчишками. А о Подсолнышке я никогда не думал отдельно от себя, от отца, от мамы.

Утром, проснувшись в своем сарайчике, укрываясь с головой старым отцовским пиджаком, я опять думал об Оле. Думал и злился на себя: и чего она ко мне привязалась?..

Она оказалась беженкой из Пинской губернии. На мельнице ее так и прозвали Беженкой и даже мало кто знал ее фамилию. Оля Беженка — вот и все. Отца ее убили где-то под Лодзью, и она явилась в наш городок, привезя с собой безнадежно больную, доживающую последние дни мать, маленького брата Станислава, чудесного, темноглазого мальчишку, и отцовский георгиевский крест, который берегла, как святыню.

В чужих полотняных беженских фургонах, снимки которых мы, мальчишки, с завистью рассматривали в журналах — вот бы так жить! — Оля и ее семья медленно двигались все дальше на восток, все дальше от родного дома, от родного дыма, от родных могил. Однако

они не теряли надежды, что вот-вот война кончится и можно будет вернуться в свою убогую хатенку на краю села. Но год шел за годом, раненый земляк, которого они случайно встретили под Владимиром, рассказал, что все их село сгорело, не осталось ни одного дома. Тогда Оля и ее мать решили ехать на Поволжье, где у них когда-то жила дальняя родня. Родни они не нашли и застряли в нашем городке. И Оля, в ее четырнадцать лет, стала главой и кормилицей маленькой семьи.

Когда я узнал это, мне стало стыдно, что я обидел ее и что она, девчонка, в чем-то, оказывается, сильнее и взрослее меня. Правда, в это время я уже носил старые, ушитые матерью отцовские штаны, ходил засунув руки в карманы, вразвалочку, подражая отцу, и в субботу солидно клал на стол перед матерью несколько помятых рублевков.

Я не понимал, что со мной стряслось. Меня необъяснимо тянуло к Ольге, а при встречах я проходил мимо нее с гордым и заносчивым видом взрослого работника, знающего многое такое, чего не знает она. А она вовсе не замечала меня, занятая своими думами. Я все представлял себе, как удивилась бы эта «зазнавашка», как я ее мысленно окрестил, если бы узнала, что я иногда выполняю поручения подпольной типографии, обосновавшейся в подвалах калетинского дома.

Мы с Олей работали в одной смене, и я старался попасть к проходной одновременно с ней, чтобы убедить ее, что она благополучно прошла за ворота.

Я видел, что Оля каждый раз уносит с собой немного муки. И все шло хорошо, пока тетю Пашу за потачки при обыске не выгнали с мельницы. Вместо нее дежурить на проходе стала жена нашего квартального Гиндина, тощая, тонкогубая, ехидная баба. При ней Оля не решалась ничего уносить с мельницы, — я понял это сразу по той гордой решительности, с какой она теперь, огрызаясь на вахтеров, проходила через проходную. Бессильная ненависть искажала ее худое лицо, вспыхивала в ее делавшихся еще больше и как бы вздрагивающих глазах. Однажды, когда Гиндина особенно тщательно ощупывала Олю при обыске, та оттолкнула вахтершу с неожиданной силой и сказала:

— Ну, хватит! Обмусолила всю!

Гиндиниха зло засмеялась, блеснул во рту золотой зуб.

— А, варначка! Это тебе не при Титихе — хозяйское добро мешками таскать...

Оля вдруг яростно замахнулась на вахтершу, и та отшатнулась к стене.

— Сама варначка!.. У меня батю за вас на войне убили... а вы... тут...

Не договорила, повернулась и ушла. По улицам шла торопливо, наклонясь навстречу ветру, иногда поднимая к лицу руку. Я догнал ее и увидел на ввалившейся запыленной щеке только что промытый слезой след.

— Плюнь! — сказал я грубовато. Хотел еще что-нибудь прибавить, чтобы ободрить и утешить обиженную девочку.

Но она остановилась, резко повернулась и как бы оттолкнула меня взглядом.

— Уйди ты! — сказала она дрожа. — Все вы тут такие... А мой батя... мой...

Замолчав, сунула в рот кончики пальцев левой руки, с силой прикусила их и убежала. И только тут я понял всю глубину ее горя. Ведь, наверное, и она своего «батю» любила не меньше, чем я или Подсолнышка — нашего отца. Я вспомнил ужасные ночи, которые мы с Юркой провели возле кутузки, когда арестовали наших отцов. Мне подумалось: ну, а если бы... моего папку?.. Как бы я... и Подсолнышка... и мамка? А? И я пошел домой, раздавленный еще не самым горем, а только его возможностью, его предчувствием. За ужином, глядя, как отец подносит ко рту свою большую, такую родную мне руку, я задумался, и мать заметила мое состояние. Спросила:

— Стряслось что-нибудь, Данька? Опять напроказил?

Для нее, для мамы, несмотря на то что я был уже почти взрослым, что я каждую субботу приносил и отцовским жестом выкладывал на стол получку, — для нее я все еще оставался мальчишкой, от которого только и можно было ждать, что шалости.

Я промолчал. А она, видимо почувствовав, что я оби-

делся, прижала к своей груди мою голову, покачала ее из стороны в сторону и сказала певуче и ласково:

— Эх ты, дурачок мой маленький...

Отец усмехнулся:

— Какой же он дурачок? Работник! — Он кивнул на лежавшие на углу стола деньги. — Мы с ним, мать, еще таких дел наворочаем! Правда, Данил? — Он неожидан-но сильно обнял меня и встал из-за стола.

Мать прошептала чуть слышно:

— Помилуй бог!..

Со своей кровати во все глазенки, — как будто плескалась за пушистыми ресницами синяя вода, — с ожиданием смотрела Подсолнышка. Каждую субботу, с разрешения матери, я брал из полочки несколько копеек и на них покупал Подсолнышке какое-нибудь дешевое лакомство или игрушку. По субботам, хотя она ужинала раньше нас, она всегда дожидалась моего возвращения и спрашивала:

«А мне купилнибудь-чего, Дань?»

«Купил, Солнышка...»

Я подсаживался к ней, доставал гостинцы, и она всплескивала ладошками и смеялась.

Когда отец вышел, мать снова подошла ко мне:

— Что с тобой нынче, сынонька? Ну скажи, милый...

— У Оли Беженки отца убили, — ответил я.

— Многих убили, сына...

Я посидел с Подсолнышкой, пока она не заснула, потом пошел в сарай, где мы спали вместе с Юркой. Хоть спать там становилось прохладно, мы не перебирались в дом — не хотелось терять свою мальчишескую свободу.

Качался и скрипел на улице фонарь, ржаво гремело над бараком полуоторванное железо крыши.

— А как ты думаешь, Юрка, — спросил я, когда мы, наговорившись досыта, уже засыпали. — Девчонки... они могут быть революционерками?

Юрка ответил не сразу.

— А ведь вот... тетя Надя... — вспомнил он.

— Она знаешь какая смелая! — подхватил я. — Она и в Сибири не испугалась... И тут... в типографии... — Я прикусил язык, но Юрка не расслышал последнего моего слова — он спал.

### 13. „Я думал — мы бедные...“

Ночью мне снился сон: будто я везу Сашеньку по берегу Калетинского пруда на самодельных санках, хотя снега на земле нет — все кругом зелено. Сашенька говорит: «Дань, а там страшно?» — и показывает на другую сторону пруда. Я хочу сказать ей, что нет там ничего страшного, только мертвый старик лежал под липой, но его давно увезли. Я не успеваю раскрыть рта, как в парке, в зелени осокорей, появляется высокая светлая тень и прямо по воде идет к нам.

Я хочу повернуть санки, но у меня нет сил. А Сашенька голосом Леньки Огуречика говорит: «Вот, а ты говорил, привидений не бывает!»

Я хватаю Подсолнышку на руки, чтобы унести, но она смеется и хлопает ладошками: «Да куда же ты, Дань? Смотри!..»

Я оглядываюсь на пруд и вижу, что там вовсе не привидение, а Оля Беженка. Она смотрит на меня, словно из тумана, большими строгими глазами и говорит: «У меня батю на войне убили... И у тебя убьют!» Я хочу крикнуть, что это неправда, что моего папку не могут убить...

Проснулся я в поту.

С улицы доносился грохот окованных тележных колес по булыжной мостовой. В щели стен сарая сочился сквозь паутину розовый утренний свет. Я лежал весь во власти сна, напуганный Олиным предсказанием.

Стук колес оборвался у нашего барака, кто-то с силой толкнулся в ворота. Голос Ахметки Кривого крикнул:

— Да стой ты, шайтан, пустой башка!

Ворота заскрипели, открываясь, одно их полотнище с размаху ударило в стену сарая, задрожала паутина в углах, с потолка посыпалась пыль.

Я встал, вышел.

Кривой низенький Ахмет в мятой черной шляпе, в рваном пиджаке, подпоясанном веревкой, вел во двор под уздцы своего огромного пегого битюга.

За широченным крупом коня на телеге, среди нескольких убогих узлов, лежала лицом вверх светловолосая худая женщина с темным иконописным лицом. Ще-

ки ее пылали болезненным румянцем, глаза неестественно блестели.

Я уже тогда знал, что это признаки чахотки: от нее в нашем дворе два года назад умер двадцатилетний Митька Трофимычев. Я хорошо помнил его, так как перед смертью он был очень злой и каждому из мальчишек барутинских бараков от него досталось ни за что, ни про что по несколько затрещин... Теперь я понимаю, что он был злой от зависти к тем, кто останется жить.

Рядом с больной сидел темноглазый красивый мальчуган, а за телегой, как всегда поджав губы, шагала Оля. Я смутился от неожиданности, увидев ее.

Ахмет коротко кивнул мне, а Оля прошла, скользнув по моему лицу взглядом так же равнодушно, как по стене сарая. Остановилась телега против окошка той комнаты, где раньше жила тетя Паша. Когда ее уволили с мельницы, то выселили с семьей из барака — она переехала на другую улицу.

Оля сняла на землю малыша, помогла слезть больной. При этом ее строгое лицо вдруг стало таким милым и ласковым, что я не мог отвести от нее взгляда. Когда они вошли в дом, я вернулся в сарай.

— Что там? — сонно спросил Юрка.

— На Титихино место другие квартиранты приехали, — неохотно пробурчал я.

Так поселилась на нашем дворе эта странная девочка.

Через несколько дней, когда новые квартиранты обжились, когда возле больной, горюя и поджимая ладонями щеки, посидели все соседки, мать послала меня к ним попросить лекарство — заболела Сашенька.

Я с любопытством оглядел чистое, но совершенно пустое и неуютное жилье соседей. На полу, на тряпках, постеленных в переднем углу, лежала Олина мать, рядом с ней, смеясь, сидел сынишка.

Подоткнув подол своей юбочки, Оля мыла пол. Обернувшись на скрип двери, выпрямилась, вытирая со лба пот кистью руки, — совершенно так же, как это делала моя мамка. Посмотрела на меня, нахмурилась. Я видел: ей совестно за то, что они такие бедные, за то, что ничего у них нет. Я сказал про лекарство.

— Какое у нас лекарство! — с горечью ответила Оля на мать. — Нам без лекарства помирать положено.



Я еще постоял, посмотрел на пустые, голые стены. Лишь в углу висела бумажная иконка, и под ней, в деревянной рамочке, — две или три фотографии, а рядом — георгиевский солдатский крест. Глядя на этот крестик, я вспомнил сон и впервые по-настоящему почувствовал, что значит потерять отца. словно нож повернулся у меня в груди, в самом сердце, мне стало до слез жалко и Олю, и почему-то себя, и Подсолнышку. Кое-как выслушав ответ, я убежал. Мамы дома не было: ушла за водой. Я сел рядом с Подсолнышкой и молча наблюдал, как она, изредка поднимая на меня свои синие глаза, кутает в тряпицы самодельных кукол.

Когда с двумя ведрами воды вернулась с улицы мать, я сказал, что никакого лекарства у соседей нет. Помолчал и добавил:

— Мам... Я больше в сарае ночевать не буду.

— Давно пора бы... Такие холода...

— А топчан, мамка, им бы пока отдать... на пока.

— Кому это? — не поняла мать.

— Да соседям. А то она больная, а — на полу... — Я робко посмотрел на мать. Она задумалась, глядя на Подсолнышку. Я сказал: — Мам, я думал — мы бедные...

Она невесело улыбнулась:

— А оказывается — богатые?

— Ну да! У них совсем ничего нет... Ты сходи к ним, мамка, скажи про топчан... А перенести я помогу...

Мать немного помолчала, потом ответила:

— Ладно, вот уберусь, схожу.

## *14. „Зря и убили...“*

Сейчас, когда я вспоминаю то далекое время, мне кажется, что этот тревожный и тяжелый год был последним годом моего детства. Именно тогда я впервые почувствовал в себе еще неясную, но крепнущую силу, начал понимать, что происходит кругом.

И та горькая радость, которую мне давало присутствие рядом Оли, отчужденные, почти враждебные встречи с ней тоже приносили в мою жизнь нечто хотя и непонятное и тревожное, но необходимое и дорогое. Все

мы еще были вместе. Была жива и Надежда Максимовна, человек светлой души и большого мужества. Правда, тогда она часто болела и неделями одиноко лежала в своей комнатке, которую снимала у вдовы какого-то маляра.

Мы с Юркой в то лето побывали у Надежды Максимовны несколько раз. Мне очень понравилась ее комнатка, чистая и уютная, — над ней словно раскинулось другое небо, не то, которое простиралось над всем городком.

Первый раз нас послал к ней отец — передать записку. Идти ему самому было слишком рискованно: после появления в городе двух или трех типографски отпечатанных листовок за домом Надежды Максимовны, конечно, следили, она все время была под гласным надзором полиции. Мы же, мальчишки, могли пройти к ней почти незаметно, перебегая со двора во двор.

Надежда Максимовна встретила нас, как родных. Лежала она на железной, маленькой, может быть даже детской, кровати у окна, выходящего в сад. Вернее, не лежала, а полусидела, держа на укрытых одеялом коленях растрепанную книгу. Книг у нее было много, они стопками громоздились на столе, на подоконнике, прямо на полу у кровати.

В окно протягивала ветки яблоня с уже поблекшими, тронутыми осенью листьями, на столике возле кровати стоял стакан молока и на тарелке лежали ломоть хлеба и большое красное яблоко.

В ответ на наш стук Надежда Максимовна откликнулась удивленно и тревожно:

— Кто? Войдите!

Потом она нам рассказала, что за время ее жизни в нашем городке к ней никто не приходил, кроме врача и жандармов.

Когда мы вошли, тревожное удивление на ее лице сменилось радостью. Она очень похудела, лицо стало почти прозрачным. Повязочка на шее еще больше оттеняла хрупкую, живую нежность лица.

— Даня! Юра! Вы?! Как я рада, — засмеялась она и губами, и глазами, всем лицом, не глядя бросила на подоконник книгу. — Боже мой, как я рада видеть вас, мальчики! Но мне даже посадить вас некуда...

— А мы постоим, Надежда Максимовна.

— Садитесь вон на чемодан, рядышком, как воробы... Ну, как там Подсолнышка?

— Хорошо, — смущенно ответил я. — Я вот принес...

Она перестала улыбаться и поспешно перебила меня, бросив беспокойный взгляд на дверь: должно быть, боялась, что ее подслушивают.

— А-а-а! Книги из библиотеки? Очень хорошо.

Я посмотрел на нее с удивлением, а она молча протянула мне руку.

Я отдал записку. Она прочитала, нахмурилась, тоненькие брови ее почти соединились на переносице. Потом лицо ее снова посветлело. Она написала несколько слов на клочке бумаги.

— Так вы за новыми книжками пришли? — очень громко, снова взглянув на дверь, спросила Надежда Максимовна. — Но у меня же здесь никаких детских книжек нет. Приходите завтра после работы в библиотеку, завтра я уже буду работать... И что-нибудь вам подберу.

— Хорошо.

Она молча протянула мне клочок бумаги, на котором писала.

— Тогда идите... Но... Боже мой, мне вашей Подсолнышке даже подарить нечего.

— Да ничего не надо, Надежда Максимовна.

— На вот хоть яблоко... Скажи, тетя Надя желает ей, чтобы она поскорее выздоровела.

— Спасибо, Надежда Максимовна.

На другой день в книге, которую Надежда Максимовна дала мне в библиотеке, оказалось несколько мелко исписанных листочков.

Протянув мне книгу, Надежда Максимовна очень внимательно и строго посмотрела мне в глаза.

— Ты не потеряешь? — спросила она и, развернув книгу, показала на листочки.

— Нет, Надежда Максимовна.

— Ну, беги. Прямо домой беги. И книгу сразу передай отцу. Понял?

— Понял, Надежда Максимовна.

Я так и сделал. Иписанные Надеждой Максимовной листки были текстом той самой листовки, которая месяцем позже отправила на каторгу десять человек из нашего города.

...И снова мне хочется говорить об Оле. Я все порывался дать ей почитать книги, которые мы с Юркой уже прочитали, я думал, что, достаточно ей прочесть эти книги, и все ей станет понятно. Мне хотелось рассказать ей о том, что я уже сам знал: о войне, о буржуазии, которая мне представлялась огромным скопищем Гунтеров, Барутиных, Тегиных, Кичигиных и даже Мельгузиных — всех, кому я еще недавно завидовал и кого теперь ненавидел всеми силами своего сердца.

Но Оля по-прежнему сторонилась меня. Желая сломить ее отчужденность, однажды я схитрил. Присев на корточки перед ее братишкой, заговорил с ним и привел в нашу комнату. Мать смотрела удивленно: раньше ни с кем из малышей, кроме Подсолнышки, я не играл, не возился, вообще не обращал на них внимания.

— Мам, — сказал я, — пусть он поиграет с Сашенькой. Ей не будет скучно... И потом... он, наверное, есть хочет...

Мать посадила Стасика и Сашеньку за стол и поставила перед ними миску только что сваренной, еще дымящейся горячим паром картошки.

Обжигаясь и смеясь, они ели картошку, запивая ее козьим молоком, которое мать иногда покупала у соседки для Подсолнышки. Потом ушли в угол и там увлеченно занялись своими делами.

А я вышел на крыльцо и уселся на ступеньках.

Невидимое за домами, заходило солнце.

С одинокого тополя перед нашим баракom слетали первые желтые листья. На скамеечке у ворот женщины говорили о войне, говорили с какой-то усталой горечью и злобой: когда же она, проклятая, кончится? И что ему, ироду, немцу этому, надо?

Я сидел, слушал и ждал.

Оля вошла в калитку, неся сверточек, видимо с какой-то едой. Прошла мимо, как всегда не обратив на меня внимания, взбежала к себе на крыльцо. Но через несколько секунд выскочила, тревожно посмотрела кругом, выглянула за калитку и опять вернулась во двор. И все это очень быстро, молча, с тревогой в глазах.

— Ты Стасика ищешь? — спросил я.

— Ну да.

— Он у нас, — равнодушно сказал я, подвигаясь на крыльце, чтобы дать ей пройти.

Она глянула на меня враждебно, но в дом вошла.

— Стасы! Ты зачем сюда пришел?

— А мы играем.

— Идем кушать.

— А я здесь кушал. Картошку... с молоком...

— Все равно идем.

— А мне здесь интересно...

Оля мгновение помолчала.

— А тебя мамуля зовет. Соскучилась.

— А потом я опять приду?

— Придешь.

После этого Стасик стал часто бывать у нас, и Оля скоро привыкла к этому. И ко мне она теперь относилась мягче, добрее, здоровалась при встречах, иногда улыбалась.

Однажды Надежда Максимовна дала мне два последних номера журнала «Нива», где было много фотографий из действующей армии. Я показал их Оле.

Она с нетерпением всматривалась в снимки, на которых были изображены наши раненые солдаты, направляемые в госпиталь. Мне казалось, что она искала среди них своего отца. Вероятно, в ее сердце еще жила надежда, что сообщение о его гибели — неправда, что ее батя жив, что он вот-вот вернется.

Она присела рядом со мной, и мы заговорили о войне. Я сказал, что война нужна только богатым, вроде нашего хозяина Барутина — он примешивает в муку пыль и получает за нее деньги.

Оля слушала молча, но глаза у нее стали такими же чужими, какими были раньше.

— Значит, это богатым надо воевать, а другим не надо? — спросила она, когда я замолчал.

— Ну конечно...

— А мы разве богатые? — спросила она неприязненно. — Вот я, и мамка моя, и Стаська? А немцы у нас дом спалили... все пропало... огород бросили... картошки сколько посажено было... пшеницы... куры были... И... и... батю за чего же убили?

— Зря и убили...

Оля встала с крылечка, несколько секунд глядела на меня с ненавистью и вдруг крикнула со слезами:

—Врешь! Врешь ты все! Мой батя... Ему крест святого Георгия прислали...

Она убежала, а я остался и сидел с таким тяжелым чувством, какого не испытывал уже давно.

## ***15. „Чтобы ни войны, ни царей не было“***

Кто выдал калетинскую типографию, так и осталось невыясненным. Но ночью четырнадцатого сентября в дверь и окна подвала с оружием в руках ворвались полицейские и жандармы и арестовали всех, кто там был.

В тот вечер, уходя, отец сказал матери, что идет работать на чугунолитейный в ночную смену — хочет немного подработать. Не знаю, поверила ли ему мать, может быть, просто примирилась с тем, что он вел опасную и не совсем понятную ей борьбу.

Ночью я проснулся от громкого, властного стука в дверь. Этот стук сразу вселил в мое сердце предчувствие подошедшего вплотную несчастья.

В углу горела лампада. В ее неярком свете я видел, как, торопливо перекрестившись и перекрестив нас, мать надела юбку и кофточку и пошла открывать. Едва подняла крючок, дверь с силой рванули, и в комнату ввалились несколько полицейских и молоденький жандармский офицерик.

— Зажгите свет! — приказал офицер.

И, когда мать дрожащими руками зажгла лампу, прошел к столу. Шпоры на его сапогах серебряно позвякивали.

Пройдя в глубь комнаты, офицер брезгливо обмахнул черными кожаными перчатками табурет, словно на нем была пыль, и сел. Лицо у него было усталое, злое.

Переведя с него взгляд на дверь, я увидел отца. Руки у него были связаны за спиной. Но смотрел он весело, легко, как будто каторга, на которую ему предстояло идти, не страшила его. Я вскочил с постели, рванулся к нему. Один из полицейских грубо оттолкнул меня:

— Сиди, ублюдок!

Полицейские сдирали со стен обои, распарывали подушки, вылили в печку из чугунка остатки супа. Подняв половицу, полезли в подпол. Отец наблюдал за ними, поглядывал на нас и спокойно улыбался.

Разворошив в доме все, что можно было разворошить, жандармы ничего запрещенного — ни оружия, ни книг — не нашли и собрались уходить. На прощание отец улыбнулся Подсолнышке, кивнул мне и матери.

— Не горюй, Даша, — серьезно сказал он. — Скоро вернусь. Не долго еще им над нами измываться.

Офицер, видимо обозленный тем, что обыск ничего не дал, подошел вплотную к отцу и, с ненавистью глядя на него, спросил:

— Социал-демократ, сукин сын?

— Обязательно! — ответил отец. В его фигуре даже со связанными руками было столько силы, что офицер, замахнувшийся было перчатками, не посмел его ударить.

Отец, наклонившись у притолоки, шагнул в темноту за дверь.

Мать села на табуретке посреди комнаты, безжизненно опустила руки, устало и безразлично глядя на царивший в комнате разгром.

— Ну вот мы и осиротели, — сказала она негромко минуту спустя и начала не торопясь прибирать вещи.

Мне показалось странным, что она не ставит и не кладет их на привычные места, а связывает в узлы. Только вечером следующего дня, когда нас выгнали из барака, я понял, почему она делала так.

Она снова постелила Подсолнышке и мне постели и сказала:

— Спите, дети...

Подсолнышка заплакала:

— Мам, а они папку куда поведут? Они злые.

— Нет, Солнышка, они не злые... Они не сделают нашему папке плохо.

Сашенька улыбнулась сквозь слезы и легла. Скоро она уже спала.

Утром, еще до гудка, к нам зашел Мельгузин. Был он одет празднично, в новом высоком картузе, сапоги сверкали, и золотая цепочка часов поперек жилета



*...Руки у него были связаны за спиной. Но смотрел он  
весело, легко...*



блестела, словно выкованная из солнечного луча. Мать с красными, заплаканными глазами возилась у печурки, готовила завтрак.

— Здравствуй, Дарья Николаевна, — сказал Мельгузин, снимая картуз и оглядывая узлы.

— Здравствуйте, Савел Митрич.

— Увели твоего?

Мамка не ответила. Мельгузин прошел вперед и, расправив полы поддевки, сел у стола. Оттуда долго смотрел на мать, и я впервые увидел в его здоровом глазу не всегдашнюю злость и издевку, а что-то похожее на сочувствие.

— Даньку-то теперь тоже уволят? — спросила мама негромко.

— Вот уж не знаю, Даша... Как хозяевам поглянет-ся... Он ведь у тебя тоже этакой, на каждое слово пять найдет. В отца.

Он достал черный, расшитый бисером кисет.

— Курить-то у тебя можно?

— Не староверы. Курите.

Мельгузин закурил. Выпятив худую куриную шею сдвигающимся кадыком, старательно пускал к потолку дым.

— Эх, Даша, Даша, — сказал он вдруг с тоской. — Ведь вот как тогда просил тебя: выходи за меня. Жила бы ты теперь как у Христа за пазухой... Я за тобой, как за царевной, всю бы мою жизнь ходил. — Он глубоко вздохнул, затаился, закашлялся.

— Ни к чему вы это говорите, Савел Митрич, — не поднимая глаз, ответила мать.

— Может, и ни к чему... — Помолчал, покурил. — А Данилу, должно, издолго упрячут... Против царя листовки, слышь, печатал... А за это каторгу дают. Обязательно каторгу. Вот и осталась ты соломенной...

— Может, еще и вернется... — сказала мать, готовая заплакать.

— Пустое, Даша... — Мельгузин покачал головой. — Время пошло смутное, того и гляди, опять в царей бомбами кидать начнут. Потому и не ждать ему милости... Ты уж прости, что я вместо утешения тебе... этикие слова...

Я ушел в угол за печку, чтобы надеть свой рабочий,

перепачканный мукой пиджачишко и посмотреть в окно — не идет ли Оля. И уже оттуда, из-за печки, услышал, как Мельгузин спросил:

— Как же будешь жить, Даша?.. — И шепотом добавил еще несколько слов, которых я не разобрал.

Мать ответила с усмешкой — это было слышно по ее голосу:

— А супруга благоверная ваша как же, Савел Митрич? Или в татары, в мусульманы подадитесь?

С неожиданной злостью Мельгузин крикнул:

— Выгоню!.. Я ведь и взял ее за себя безо всякой любви — тебе назло... Она у меня в синяках два года ходила, пока привык. А теперь выгоню... вон!.. в деревню!.. Я ведь за тебя, Даша, в огонь, в воду, куда хочешь... И детишками не попрекну... ничем.. богом клянусь!

Мать помолчала, потом громко позвала:

— Даны! Иди ешь. Сейчас гудок будет.

Я с трудом съел две картошки — не лезло в горло.

Мельгузин, коротко поглядывая на меня, курил, вздыхал.

— Загубил он всю твою жизнь, Даша. А какая у тебя жизнь могла быть... Эх ты, горе соленое! — Он встал, поискал, куда бросить окуроч, приоткрыл дверцу печурки, положил туда. Надевая картуз, сказал: — Подумай, Даша... об них подумай. — Кивнул на спящую Сашеньку и пошел к выходу.

Мимо крыльца мелькнула почти бесцветная, выгоревшая на солнце косынка Оли, и я, перегнав Мельгузина, выскочил из дома.

Олю я догнал за воротами. Она смотрела на меня широко открытыми глазами. И, хотя мне очень хотелось поделиться с ней своим горем, говорить я не мог — слезы давили горло.

— Отца в тюрьму взяли? — спросила Оля, когда мы дошли до угла.

— Да...

— За что?

— Листовки печатал... чтобы ни войны, ни царей не было...

— Как — царей не было? — испуганно спросила Оля. — А куда же их?

— А куда хотят... Мне Надежда Максимовна книжку

давала. Во Франции очень просто одному королю-людоеду голову отрубили.

Оля отшатнулась от меня, как будто я ее толкнул, обогнала меня и ушла. А мне теперь было все равно, я думал об отце. Может быть, его уже бьют? И он, такой сильный, ничего не сделает против: их много, а у него и руки-то связаны. Мои окрепшие кулаки наливались такой злобной и гневной силой, что хотелось сейчас же стукнуть кого-нибудь — вахтера, попавшегося мне навстречу Кичигина, Мельгузина... Мельгузин?.. И я подумал о том, что этот противный, ненавистный мне человек всю свою жизнь любил мамку, а она его не любила... «Вот как я Олю», — мелькнула у меня мысль, и я почувствовал, как горят мои щеки.

На работе я прежде всего нашел Юрку — теперь у меня от него не могло быть тайн. Отошли в угол, спрятались за качающиеся, шумящие сита.

Юрка спросил:

— Так это они потом привидениями ходили?

— Да.

— А чего же молчал? — с обидой спросил Юрка. — А еще товарищ!

— Не велели.

— «Не ве-ле-ли»! — передразнил Юрка. — Рассказал бы — мы бы с тобой караулили в парке... Ничего бы и не было.

На мельнице я узнал, что в эту ночь были арестованы Надежда Максимовна, литейщик Митин, машинист мельничного паровоза дядя Миша и еще шесть человек, которых я не знал. У меня немного посветлело на душе: значит, отец не один. Значит, они все время будут вместе... Я еще не знал тогда, что многим из них никогда уже не придется выйти на волю. Еще во время следствия умрет в сырой тюремной камере наша милая Надежда Максимовна, при попытке к бегству убьют на каторжном этапе Митина, за подготовку к восстанию на Тобольской каторге повесят веселого, ласкового дядю Мишу...

Когда я возвращался в тот день с работы и следом за Ольгой вошел в наш двор, я прежде всего увидел у крыльца наши кровати и узлы, на них мать и Сашеньку, прикрытую от дождя старым отцовским пиджаком. Мать

казалась спокойной, только глаза ее светились слезным блеском и искусанные губы немного распухли. На двери дома, где мы жили, висел огромный замок.

Подсолнышка улыбнулась мне навстречу.

— А мы тебя, Дань, ждем... Нас из дома выгнали.

Оля на секунду остановилась, потом побежала к себе.

— Ты бы, Данилка, сходил к Юре, — сказала мать. — Может, пока у них?.. А то — дождик... Как бы Солнышка не занедужила.

— Хорошо, мам. Ты знаешь, еще девять человек...

— Знаю, сынка.

Я хотел что-то еще сказать, но в это время во двор выбежала Оля, уже без косынки, без пиджачка, подхватила один из ближних к ней наших узлов и молча поволокла его к своему крылечку. Но поднять узел на ступеньки оказалось ей не под силу, она остановилась и сердито оглянулась на меня. Я подбежал к ней. Руки наши столкнулись на веревке, которой был стянут узел, — у Оли была горячая и сухая, как у Надежды Максимовны, рука.

Когда мы втащили узел на крыльцо, Оля сказала:

— Теперь я одна донесу. Сашку неси...

Так мы поселились вместе.

## ***16. ,...И в землю отыдеси“***

Олина мать умирала медленно и трудно: слишком много забот оставалось у нее на земле и каждая из этих забот мешала ей умереть. Как, с кем будут жить теперь ее Ольгуня и ее Стасик? Ведь так много горя и зла на земле, так много людей, которым ничего не стоит обидеть сирот.

Целыми днями она лежала на топчане в переднем углу и следила за детьми горячими, ласковыми, полными боли и жалости глазами. Моя мать, как умела, успокаивала ее.

— Да не волнуйся ты... еще поднимешься... И жить будем легко... — говорила она. — Данилка-то у меня уж совсем большой, работник. Да и Оля тоже. И этих, даст бог, вырастим...

И она взглядывала на Подсолнышку с такой скорбью, что я невольно вспоминал многократно слышанные мной слова сердобольных женщин: «Не жилец она у тебя, Даша... Хорошие-то и богу нужны».

Олина мать умерла вечером. Мы с Олей пришли с работы и еще с порога увидели, что в доме неладно. Малышей не было, их унесли к соседям, а в комнате было полно людей. С горестными лицами, вздыхая, они смотрели на Олину мать, лежавшую с порывисто вздымавшейся грудью, лицом вверх, с пустыми, уже не видящими глазами. У печки шумел большой помятый медный самовар.

Была Олина мать в нижней сорочке, не прикрытая даже простынкой, — уже и это было непосильной тяжестью для ее истаявшего тела. Когда мы вошли, Оля рванулась к матери, но тут же остановилась, прижав руки к полуоткрытому рту.

Больная слабо шевельнула пальцами и повела глазами в сторону моей мамки.

— Свечку, — не сказали и не прошептали, а словно подумали ее губы, но все поняли, что она хотела сказать...

— Знак! Это она знак подает... Значит, есть...

Мама торопливо зажгла тоненькую восковую свечку и прикрепила у изголовья. Как потом я узнал, женщины уговорились с умирающей, что на пороге смерти она даст им знак — увидит ли она что-нибудь там, за порогом, на который встанет в последнюю минуту жизни.

В это время с грохотом упала самоварная труба. Оля оглянулась на этот грохот и только тут, видимо, поняла смысл происходящего.

— Зачем это? — шепотом спросила она стоявшую рядом соседку с болезненным, желтым, длинным лицом, показывая на самовар.

— А как же, милая? Покойницу-то обмыть надо.

Оля подскочила к самовару и пнула его ногой. Самовар опрокинулся набок, кипящая вода полилась на пол, горячий пар наполнил комнату... Женщины бросились к самовару: «Воды давай, распаяется...»

После этого Оля подбежала к матери, прижалась головой к ее груди, заплакала бессильными и беспомощными слезами:

— Мамочка, не надо... мамочка, не умирай...

Умиравшая только шевельнула губами, я угадал слово: «Стась...»

Похоронили ее тихо. Нести гроб было некому, его за трешницу отвез на своем пегом битюге кривой Ахмет. Рыженький попик торопливо и равнодушно пропел над гробом: «Земля еси и в землю отыдеши»; могилу на самом краю кладбища, рядом с зарослями крапивы и репейника, забросали землей. Олю никак не могли увести, и все отошли в сторону, чтобы дать ей «выплакать горе». Она лежала на могиле лицом вниз, плечи ее судорожно вздрагивали. Накрапывал дождь, платье на спине девочки промокло. Я стоял недалеко от нее, и было мне так ее жалко, как не было жалко еще никого в жизни. Я подошел, тронул ее за плечо.

— Уйди, — прошептала она сквозь зубы.

— Простудишься, — сказал я, — а там Стасик... Пойдем.

Опомнившись, она тяжело привстала, но сейчас же опять легла на могилу, обхватила ее руками и зарыдала. Я силой поднял ее, отряхнул с ее платья мокрую глину и под руку не повел, а потащил домой...

У ворот кладбища нас ждали остальные.

## ***17. Возвращение дяди Коли***

От Юркиного отца почти год не было писем — его уже не раз оплакали как убитого, как пропавшего без вести, но неожиданно он вернулся. Вернулся без обеих ног, ампутированных выше колен. Долго лежал в госпитале, кажется в Пензе, не решаясь написать домой правду.

Теперь он был ниже меня — его коротко остриженная голова едва доставала мне до плеча. На это так страшно было смотреть, что на первых порах я все время отводил взгляд.

С вокзала он не пошел домой, а явился к нам, в ба-раки.

Случилось это осенним ясным днем, в стекла окон

бились желтые тополевые листья, ярко, хотя и холодно, светило в распахнутую дверь солнце.

Николай Степанович вошел неслышно и, вероятно, несколько минут стоял на пороге, никем не замеченный. Кашлянул.

Мать обернулась и, увидев его, в ужасе всплеснула руками, не в силах выговорить ни слова.

Было воскресенье — и я и Оля были дома. Никогда, наверное, мне не забыть напряженного, болезненного взгляда, каким Оля смотрела на Николая Степановича, как будто думала: «Хоть вот таким, а пришел бы мой батя с войны!»

— Ну, здравствуйте, — не слезая с порога, сказал Николай Степанович, обводя присутствующих веселым и острым взглядом. — Не узнаете?

Мать бросилась к нему, обняла — для этого ей пришлось нагнуться, — заплакала.

— Степаныч! Чего же это они с вами сделали?

— Да видишь вот — укоротили малость... во славу царя-батюшки и веры христианской... Спасибо им: теперь обутки никакой всю жизнь не потребуются и штаны в два раза короче — одна выгода.

Мать наклонилась, прижалась лицом к плечу дяди Николая, к его старенькой, обрезанной по низу шинели.

— А Даня... Даню...

— Знаю, — глухо отозвался Николай Степанович. — На вокзале сказали. Ну, значит, ежели не повесят — цел будет. Судили?

— Нет пока. В губернию увезли.

— Та-а-ак... Жалко, не повидались. И много их?

Мама вопросительно глянула в мою сторону.

— Десять человек, дядя Коля, — сказал я. — Дядя Миша, машинистом который, литейщик Митин...

Николай Степанович, щуря усталые глаза, внимательно осмотрел меня.

— Вырос паренек. Добро. — Помолчал, пожевал сухими синеватыми губами под короткой, обгрызенной щеточкой рыжеватых усов. — И эту, книжницу нашу, Максимовну... тоже?

— А она... умерла, — с трудом сказал я. — В тюрьме...

Николай Степанович скрипнул зубами, потряс головой.

— Эх! Святой человек была...

Во все свои синие чистые глаза глядела на Николая Степановича только что проснувшаяся Подсолнышка. Он почувствовал ее взгляд, бросил на табурет грязную солдатскую шапку со светлым следом от овальной кокарды, пальцами погасил на пороге окурок и подошел к Сашеньке. Она немного отодвинулась, но смотрела без испуга.

— И ты выросла, глазунья? Не узнаёшь?

— У-знала... Только вы раньше большой были, а теперь маленький. И одежда еще другая...

— Одежа-то? Солдатская одежонка... А поменьше стал — тоже, вроде, верно. — Пошарил в кармане шинели, достал два кусочка сахара. — На-ка вот тебе... от сладкой госпитальной жизни остатки.

Сашенька робко повернулась к матери.

— Возьми, Солнышка, — разрешила та.

Николай Степанович ловким и сильным движением скинул с плеч свой солдатский мешок, положил его на пол, обернулся к Оле и Стасику:

— А это чьи же галчата?

— Из Пинской губернии мы, — ответила Оля, прижимая к себе курчавую голову брата, со страхом следившего за незнакомым коротконогим человеком.

— Беженцы, — пояснила мать.

— Отец-то — воюет, что ли?

— Нет...—Оля уголком глаза посмотрела на георгиевский крестик, и Николай Степанович заметил ее любопытный взгляд.

— Отвоевался; значит? Н-да-а...

— Может, встречали его? — с внезапно вспыхнувшей надеждой спросила Оля, и ее щеки загорелись. — Его Антоном звали... Мураш по фамилии.

— Мураш? — Николай Степанович задумался. — Да нет, вроде не было Мураша...

Опершись одной рукой о край стола, а другой о табуретку, он легко вскинул свое тело, сел к столу, облокотившись на него грудью, и сразу стал прежним, таким, каким я помнил его, когда он за этим же столом сживал с отцом.

— Ты вот что, Данил, — обратился он ко мне. — Сходи-ка за Юркой за моим... — И с виноватой усмешкой



повернулся к матери. — Боюсь я этак-то одной половиной домой заявляться. Еще напугаются. А? — И засмеялся, будто сказал что-то забавное. Но в глубине глаз у него стояла тоска.

— Сбегай, Дань, — сказала мать.

Я быстро оделся и побежал.

Юрке, когда мы вышли от него, я только сказал, что отец его ранен.

— Сильно? Куда? — спросил Юрка и побледнел.

— В ноги, — как можно небрежнее ответил я. — А так он веселый.

Прямо с порога Юрка прыгнул к отцу, обнял его обеими руками за шею, прижался изо всех сил. Николай Степанович схватился рукой за стол.

— Погоди-ка, сынок... опрокинешь ты меня...

Юрка отодвинулся, оглядел отца, увидел обшитые черной кожей культяпки, закричал.

Николай Степанович сильно хлопнул его по плечу.

— Брось! — строго сказал он. — У некоторых вон совсем не вернулись... А мы с тобой еще жить будем... Вот...

Когда Юрка с отцом ушли, мы с Олей взяли веревки и отправились на Горку за хворостом — надо было запастись на зиму дров. Оля давно меня не дичилась, характер у нее стал мягче, вероятно еще и потому, что моя мама не делала никакой разницы между всеми нами, кормила одинаково и одинаково ласкала Подсолнышку и Сасика. Сашенька никогда на это не обижалась: ей незнакомы были ни вражда, ни зависть. И, может быть поэтому, Оля скорее, чем можно было ждать, примирилась со смертью матери.

Мы поднялись на Горку, вошли в лес. Несмотря на осень, здесь сильно пахло сухой хвоей, сосновой смолой, сгоревшим на солнце полынком.

— А он, который без ног... — Оля подняла на меня свои строгие, глубокие глаза. — Он тоже против войны?

— Конечно, против.

— А в Манифесте же написано: «...Вся Россия... с железом в руках... с крестом в сердце...» Стало быть, неправда это?

— Ясно, неправда. Кому войну надо? У тебя отца убили. У Юрки вон безногим остался. И мы вон как голодаем, и солдаты тоже, а Барутин новую мельницу в Оренбурге строит.

Мы собрали хворост, связали его и, отдохнув на пенках, пошли домой. Олина вязанка была не под силу ей, она шла покачиваясь, я видел, что у нее подгибаются ноги. Я остановился, сбросил вязанку на землю.

— Стой, отдохнем давай.

Она присела на корточки и, опрокинувшись назад, положила хворост на дорогу. Я молча распутал веревки на обеих вязанках хвороста и начал перекладывать часть хвороста из Олиной вязанки к себе. Она не сразу поняла, что я делаю, потом вскочила, стала вырывать у меня сучья:

— Вот еще выдумал! Отдай, говорю!

— Отойди! — крикнул я. — Надорвешься — кто с тобой возиться будет?!

Она выпрямилась, постояла молча, оскорбленно сжав губы. Я перевязал обе вязанки, и мы пошли дальше. Я видел, что идти ей стало легче. И у меня было тепло и хорошо на душе.

...Весь день Оля со мной не разговаривала и только поздно вечером, когда мы укладывали дрова в сарае, спросила:

— Ты на меня серчаешь?

— Это за что же я на тебя серчать буду?

— А — злая я.

— Выдумывай! Мы же теперь все равно как брат и сестра... Подсолнышка вон зовет Стаську братиком... Так и мы. Ладно? — грубовато спросил я.

— Ладно, — очень тихо отозвалась она, опустив голову. — Только и ты больше... не обижай...

— Ладно, не буду.

Сашенька действительно называла Стасика братом, и жизнь ее стала интереснее и веселее. Если бы не ее ухудшающееся с каждым днем здоровье, можно было бы только радоваться, глядя на нее, — она уже не сидела сиротливо в своем уголке, а вместе со Стасиком как бы завладела всей комнатой, — их куклы, сшитые из тряпья прилежными Олиными руками, ездили с табуретки на табуретку в гости друг к другу, на базар за покупками,

в больницу — лечить свои многочисленные болезни, часами стояли в очередях за хлебом и солью.

В эту зиму, несмотря на мою крепнушую день ото дня дружбу с Олей, я стал как-то отходить от дома — меня все больше тянуло к дяде Коле и его товарищам.

На следующий день после возвращения дядя Коля снял себе халупку на углу базарной площади, достал кое-какой инструмент, написал на грязном фанерном листе «Сапожная» и принялся подбивать каблуки и подметки, подшивать валенки. Под вывеской скоро появилось объявление, которое сразу привлекло к сапожной заказчиков: «Солдаткам и инвалидам войны работаю дешево».

Но не только это объявление собирало в сапожной людей, а и сам дядя Коля с его неистощимым юмором, с его соленой, точно адресованной солдатской шуточкой, с его «вшивой правдой», как он сам выражался, которую он принес из окопов.

Я очень боялся, что дядю Колю, как и отца, арестуют жандармы, и мне хотелось его предостеречь.

Однажды вечером пошли в баню. Мы с Юркой, задыхаясь от жары и пара, в два веника, что есть силы хлестали могучие багровые плечи и спину дяди Коля, а через полчаса, лежа на скамейке в пустой парилке, я рассказывал ему о калетинской типографии. Он слушал внимательно, покусывая рыжие усы, то и дело вытирая пот, обильно текущий со лба. Когда я замолчал, он сказал:

— Стало быть, стреляные воробьи? Добро... Будет и вам работенка...

## ***18. Весточка от самого дорогого...***

Жизнь нашей семьи в тот год была наполнена заботами о куске хлеба, стоянием в очередях у кичигинской и карасевской лавок, болезнью Подсолнышки и ожиданием писем отца. Эти письма, написанные на бумажных лоскутках, с густыми цензурными вымарками, приходили редко. Но от них появлялась надежда на скорую встречу.

Только одно письмо пришло не по почте. Его принес чернобородый человек с темными цыганскими глазами, с серым, землистым лицом.

Когда он вошел, мама растапливала печку, малыши играли на кровати Подсолнышки, а Оля сидела у окна и чинила мою рубашку.

Вошедший постоял на пороге, рассматривая нас, глаза у него странно блеснули. Mamka оглянулась и, словно желая защитить детей от неприятно пристального взгляда, пошла от печки к порогу.

— Не обессудьте,— сказала она. — Подать нечего.

Но чернобородый легко и ласково отстранил ее сильной рукой и, улыбнувшись, шагнул в комнату.

— Эту знаю,— басом сказал он, глядя на Подсолнышку.

Бас у него был глубокий и чистый, с мягкими интонациями, — он так противоречил его внешнему облику, что я сначала не понял, кто говорит.

А незнакомец повернулся ко мне, улыбнулся и сказал:

— И тебя знаю... И вас знаю, Дарья Николаевна. А вот этих двоих... — усмехаясь в свои густейшие черные усы, посмотрел на Олю и Стасика, — ей-богу, не могу узнать.

Поклонился матери и, протягивая руку, спросил:

— Перепугал я вас?

— Да нет... что же... помилуйте, — растерянно сказала мать.

— Вид-то, наверное, у меня страшноватый. Там не очень-то роскошно одевают... — Он принялся расстегивать свой кожаный жилет, руки у него были очень худые и белые. Расстегнувшись, сунул руку за пазуху, разорвал подкладку и вынул какую-то бумажку. — Вот, Дарья Николаевна, весточка вам от дорогого человека...

— От Дани? — У матери перехватило голос.

— Да, от Данилы Никитича... Вот... Скоро думает увидеться.

— Так ведь... еще двенадцать лет...

— Это по их счету, Дарья Николаевна, — мягко сказал чернобородый. — А по-нашему — меньше...

Посмеиваясь в усы, ласково поглядывая на нас, он ждал, пока мама прочтет письмо.

Она сидела на табурете у плиты и, изредка вытирая

слезы, читала — листочки папиросной бумаги дрожали у нее в руке.

— Тут у меня еще поручение есть, Дарья Николаевна, — сказал он, когда мама прочла письмо. — Помогите, пожалуйста, выполнить... Как мне найти Надежду Максимовну Рошину? Ее дело тогда по состоянию здоровья было выделено. Ее должны были из тюрьмы освободить...

Он смотрел на мать виноватым детским взглядом, и не верилось, что несколько минут назад именно эти глаза так нас напугали.

— Надежду Максимовну? — переспросила мать и беспомощно оглянулась на меня.

И только тогда лицо незнакомого человека показалось мне знакомым: не его ли портрет — только без бороды и усов — висел над кроватью нашей Джеммы? Правда, на той фотографии он был в студенческой тулупке, совсем молодой.

— Да... дело, видите ли... я Надежду Максимовну знал, — смутившись, ответил он. — В Петербурге... давно... Ты, Даня, не проводишь меня к ней?

Он так просительно смотрел мне в глаза, что я не мог сразу сказать то, что сказать было необходимо. Я ответил упавшим голосом:

— Хорошо... провожу...

Он выпрямился, вздохнул с облегчением:

— Ну, вот и добро.

Спотыкаясь на каждом слове, я пробормотал:

— Только ведь... она... она...

Он вздрогнул. И, видимо, по выражению моего лица понял страшную правду и сразу весь осунулся, словно постарел сразу на несколько лет. Заторопился, пряча глаза, застегивая дрожащими пальцами кофточку.

— Ну... ну... такое дело... до свиданья. Дарья Николаевна... я еще зайду... я ведь, наверное, теперь здесь жить буду... пока опять не посадят. — И улыбнулся через силу.

— А родные? — спросила мать.

— Никого...

— Так вы посидите... согрейтесь, — засуетилась мама. — Оля, поставь чай.

— Спасибо... Дарья Николаевна... Не хочется.

— А куда же вы?

— Не знаю.

Я подскочил к двери, схватил свой пиджачишко, шапку.

— Я вас провожу, — сказал я. И повернулся к мамке, которая смотрела вопросительно. — В сапожную...

— Верно... верно, сынок...

Так вошел в нашу жизнь еще один замечательный человек. Бескорыстный, мужественный, добрый, бесстрашный в борьбе, он стал для меня живым воплощением того облика революционера, который сложился к тому времени в моем представлении. И я думаю, что не только моя фантазия наделяла его чертами Овода и Гарибальди — нет, в нем действительно повторялись их лучшие качества: любовь к народу, мужество и воля к борьбе.

Он поселился в маленькой комнатухе на окраине и нанялся работать на чугунолитейный. Сбрив свою окладистую бороду и усы, он так переменялся, что когда несколько дней спустя я встретился с ним в сапожной, то не узнал его.

Звали этого человека Петр Максимилианович Сташинский, он был сыном крупного, известного петербургского адвоката, но, поссорившись с монархистом-отцом, ушел из семьи и посвятил жизнь революции.

Он стал часто заходить к нам.

Очень хорошо, проникновенно и душевно пел он народные русские и украинские песни. Мать не раз, шутя, говорила, вытирая слезы, что ему бы не революционером, а протодиакonom быть: «Вот бы богато жили!»

— А я и так не бедно живу, — отзывался он.

Особенно любила слушать его песни Подсолнышка. Он приходил к нам обычно по воскресеньям, снимал у двери свой уже промаслившийся колушок, здоровался и брал Подсолнышку на руки. Своих детей у него никогда не было. Надежда Максимовна, которую он, видимо, очень любил, но о которой теперь ни с кем не говорил, умерла, и всю нежность своей души он отдавал детям. Позже, при встречах с другими революционерами, я всегда вспоминал Петра Максимилиановича и задавал себе вопрос: почему все преданные революции люди так

любили детей? Потому ли, что у многих из них из-за трудностей их революционного дела никогда не было своей семьи, потому ли, что именно ради детей, в конечном счете, и совершалась революция?

Петр Максимилианович ходил с Подсолнышкой на руках по комнате из угла в угол — их тени скользили по стенам и потолку — и тихонько пел. Особенно любил он Шевченко, которого считал величайшим поэтом. Ознобная дрожь пробегала у меня по спине и слезы непонятного восторга набегали на глаза, когда он пел:

Поховайте, та вставайте, кайданы-ы порвите  
И вражою-ю злою кровью-ю...

Перестав петь, он принимался негромко рассказывать о страшной судьбе Шевченко, о том, как заporоли насмерть Полежаева<sup>1</sup>, читал его стихи, рассказывал о декабристах и Ленине, о своих товарищах по революционной работе и каторге. И вместе с его словами светлые образы этих людей входили в нашу комнату. Никому в жизни я так не обязан своим развитием, как этому человеку, хотя прожил он в нашем городе обидно мало: от первого его появления у нас до того дня, когда тридцать некрашенных гробов опустили в братскую могилу на площади, прошло около полутора лет...

Рассказывал дядя Петя и о жизни в Тобольской каторжной тюрьме, об этапах и пересылках, о бессмысленной жестокости конвоя и тюремщиков, рассказывал об отце. И после его рассказов отец становился мне еще дороже, чем раньше. Вероятно, то же чувство испытывала и Подсолнышка. В тот год она больше, чем раньше, тосковала о нем.

Однажды, сидя на руках у Петра Максимилиановича, наслушавшись его рассказов, она задумалась и вдруг посмотрела в потолок и сказала неожиданную и странную фразу:

— Пусть... пусть паутинка летит далеко, а папа пусть живет дома дружно...

Все посмотрели на нее с удивлением, ее слова звуча-

---

<sup>1</sup> Полежаев А. И. (1804—1838) — русский поэт, замученный царским правительством за свободолобивый дух и прямые политические высказывания против самодержавия.

ли как заклинание, а Петр Максимилианович, покачив головой, сказал:

— Ой, Подсолнышка, боюсь, что не будет твой папка жить дружно с Барутиными да Хохряковыми...

И, чтобы отвлечь девочку от грустных дум, принялся рассказывать ей о том, какой большой город Петербург, какие там дома, какие театры.

Мы особенно любили слушать его рассказы о театрах, он знал множество пьес и представлял их в лицах с неподражаемым, как, во всяком случае, мне казалось, мастерством. Однажды он очень долго и с увлечением говорил о цирке, показывал фокусы с картами, которые двигались сами собой, с медными монетами, которые пропадали на глазах и вдруг оказывались у Подсолнышки в кармане.

Сашенька смотрела во все глаза, очень много смеялась, а потом задумалась, склонив на плечо свою беленькую головенку, и серьезно спросила:

— Дядя Петя! А церковь и цирк — это одна фамилия?

Мама была напугана этим безбожным вопросом и даже, как мне показалось, обиделась на Петра Максимилиановича. Он, расхохотавшийся было, заметил ее опечаленное лицо и, перестав смеяться, разъяснил Подсолнышке разницу между церковью и цирком.

Никогда у нашей семьи, ни до этого, ни после, не было такого искреннего друга, — может быть, потому, что все мы перенесли на этого человека часть нашей любви к отсутствующему отцу. Нас заражала его веселая и мужественная вера в то, что все впереди — хорошо. И он, кажется, чувствовал себя среди нас как дома. А Сашеньку, нашу синеглазую Подсолнышку, он любил словно родную дочь. Когда она заболела, он не находил себе места, водил к нам своего знакомого, сосланного в наш город петербургского врача, покупал лекарства, приносил скромные лакомства, какие можно было достать в то голодное и нищее время. Однажды, помню, принес плитку шоколада «Золотой ярлык» в сверкающей обертке. Эта плитка была как бы кусочком солнца, ворвавшимся в нашу темную жизнь.

Разломив плитку шоколада пополам, он взял на руки Сашеньку и Стасика, дал им и, поглядывая то на одно-



го, то на другого, сам взволнованный их радостью, ходил с ними по комнате, огромный, тяжелый, — в шкафу при каждом его шаге вздрагивали и звенели стаканы.

На столе горела семилинейная керосиновая лампа, тень большого человека пересекала стены, заползала, ломаясь посередине, на потолок, наполняла собой весь дом.

Оля сидела в углу у печки и оттуда, не отводя взгляда, с благодарностью смотрела на Петра Максимилиановича, на Стасика, доверчиво прижимавшегося к плечу этого сильного, доброго человека.

С появлением Петра Максимилиановича Оля немного замкнулась, как бы отошла от нашей семьи, старалась стать незаметнее, словно вдруг опять почувствовала себя чужой.

В тот вечер я впервые подумал об этом и почувствовал себя виноватым. Отошел к печке, сел рядом с Олей, осторожно, так, чтобы никто не видел, положил свои пальцы на ее руку. Она не шевельнулась, но сжала мои пальцы. Так мы и сидели, не разнимая рук, и смотрели на разбаловавшихся малышей, на Петра Максимилиановича.

— Вот бы все такие... — шепотом сказала Оля, обернувшись на мгновение ко мне.

А Сашеньке становилось хуже — она таяла с каждым днем, все бессильнее становились ее тоненькие, как щепочки, ручонки. Мне иногда казалось, что они могут у нее переломиться, если она поднимет что-нибудь тяжелое.

...В эту зиму меня с мельницы выгнали. В воскресенье, под Новый год, к нам снова явился Мельгузин, одетый в добротный меховой пиджак и меховой же картуз. Чисто выбритое ноздреватое лицо его было приветливо и ласково, под серыми усиками шевелилась улыбка. Но в живом, нетронутом бельмом глазу, в темной коричневой глубине его стояла тоска, горела искорка вольчьего одиночества и беспокойства.

Мельгузин поздоровался, снял картуз и, пройдя к кровати Подсолнышки, высыпал ей на одеяло горсть конфет. Подсолнышка робко взяла одну конфету и оглянулась на Стасика, подзывая его.

Мельгузин сел к столу, осмотрелся, закурил, покопился на остатки еды на столе: картофельная кожура и кружка воды.

— Так и живешь, Даша?

— Так и живу, Савел Митрич...

— Не надоело?

— Может, и надоело... а жить все одно надо...

Мельгузин долго молчал. В глазу у него вспыхивала обижавшая меня ласковость и жалость. «Что ему надо?» — думал я, чувствуя, как у меня начинают дрожать колени.

— Думала, про что говорил? — спросил он. И, не дождавшись ответа, сообщил: — У меня ведь, Дарья Николаевна, перемена в жизни... Отправил я бывшую свою супружницу в деревню... Ни доходу от ней, ни приплоду. Теперь до Святейшего синода<sup>1</sup> дойду, а своего добьюсь... — И, помолчав, спросил еще раз: — Надумала?

— Да чего ж думать? — неожиданно громко сказала мать, с гневом подняв пятнами покрасневшее лицо. — Что я — басурманка какая, что ли?!

Вообще, еще до этого случая, я заметил, что с появлением в нашем доме Петра Максимилиановича мама как бы выпрямилась, поднялась, с лица исчезла та монашеская скорбность, которая часто пугала меня, разгладились морщинки на лбу и в углах губ.

Не в силах унять дрожь в коленях, я встал и шагнул к столу. Я чувствовал, что и мама и Оля с беспокойством смотрят на меня.

— Вы бы ушли отсюда, Савел Митрич, — сказал я, с ненавистью глядя в дрожащий тоскливый глаз. Еще секунда — и я бросился бы на Мельгузина и вцепился бы пальцами ему в горло.

Он встал, несколько секунд испуганно смотрел на меня.

— Однако... щеночек-то в большую собаку вырос... — медленно произнес он.

В этот момент вошел Петр Максимилианович. Он, как свой человек в доме, коротко поздоровался с порога

---

<sup>1</sup> Высший орган по управлению церковью в дореволюционной России.

и стал раздеваться. Сашенька запрыгала в своей кровати.

— Дядя Петя! Дяденька Петенька!

Стасик тоже потянулся к нему, улыбалась и Оля. Мать под пристальным взглядом Мельгузина вдруг покраснела, даже кончики ушей у нее налились кровью...

— Извините, — протянул Мельгузин, до самых глаз напяливая меховой картуз. — Извините. — И вышел, не прощаясь, оглянувшись в дверях на дядю Петю.

— Что за тип? — весело спросил тот, потирая руки и все еще топчась у порога.

— Приказчик с мельницы...

— Ага-а-а...

На другой день меня уволили. Я сначала перепугался: как же будем жить дальше без моего заработка? Но Петр Максимилианович помог мне устроиться на чугунолитейный — у него к этому времени на заводе были довольно крепкие связи.

На заводе все было так непохоже на мельницу! Полыхали жаром вагранки, сыпались из разливочных ковшей огромные звездчатые искры, сверкая, тек расплавленный металл. Здесь были совсем другие, раньше незнакомые мне люди, сильные самой своей работой, близостью к железу и огню.

Раскаленные добела болванки, шипя, проносились над головами; сверкали, как маленькие солнца в облаках дыма, изложницы. Люди в черных, засаленных и обожженных куртках бесстрашно сновали среди грохота кузнечных молотов, свиста пара, шипения охлаждаемого металла.

Новая работа так захватила меня, что, несмотря на ее физическую трудность, несмотря на всегдашний угар, стоявший в литейке, я несколько дней ходил сам не свой от радости. И мельница вспоминалась мне как далекий и скучный край.

...На Чармыш мы в тот год не ходили — не до того! Только один раз, ранней весной, я сводил Петра Максимилиановича на могилу Надежды Максимовны — она уже поросла травой. На могильном бугорке лежал прошлогодний полурассыпавшийся букет простеньких поле-

вых цветов. Значит, кто-то еще, кроме меня и Юрки, бывал здесь, значит, еще кому-то была дорога память о Надежде Максимовне.

Сняв шапки, мы с Петром Максимилиановичем долго стояли у холмика, потом пошли на берег. Петр Максимилианович был задумчив. Одной рукой собирал мелкие камешки, а другой бросал их в воду на проплывающие в желтой пене льдины.

Мы посидели на берегу, слушая, как трутся о берег почерневшие льдины.

## ***19. „Вот и свиделись, дорогие!“***

Всю зиму мы жили очень голодно и трудно — «сидели голодом и холодом», как потом, вспоминая, говорила мать.

Милая моя, добренькая мамка, худая, большеглазая, в тридцать лет седая, она принадлежала к той породе русских женщин, которые останавливают на скаку коней и входят в пылающие дома. Она все бодрилась — в тот год я ни разу не видел у нее на глазах слез. Но только много лет спустя, когда у меня самого появились дети, я по-настоящему понял, сколько нужно святого женского мужества, чтобы улыбаться и петь, убаюкивая голодных детей и согревая их в нетопленной квартире теплом своего тела.

Я тоже слабел: работа в литейке выматывала все силы — работали по двенадцать, а в дни больших военных заказов по четырнадцать часов.

Подсолнышка и Стасик, конечно, многого не понимали. Если их нечем было покормить, они обиженно затаили — на их худые, словно выточенные из кости, лица было тяжело смотреть.

Особенно трудно приходилось Стасику: мальчик он был здоровенький, ел много. Оля украдкой скармливала ему почти все, что давала ей мать.

Сама она похудела больше всех, только одни глаза, ставшие еще более зелеными, жили на ее лице. Да губы, пожалуй, милые, нежные, в уголках которых уже затаилась скорбь.

— Ты же так умрешь, Ольга, — сказал я ей однажды, когда она легла спать голодная.

— Нет, — ответила она чуть слышно. — Я на мельнице муку ем.

Голодали не мы одни, голодали многие, хотя рядом, на мельничных складах, лежали десятки тысяч пудов муки и зерна.

Почти каждый вечер мы ложились спать голодные, попив на ночь горячей воды, которую мама называла чаем. Оля разливала этот чай кружкой из чугунка. Мы пили кипяток и мечтали о времени, когда вернется отец, мечтали о том, как снова будем жить вместе, когда выпустят из тюрьмы дядю Петю — его в начале зимы опять посадили в тюрьму. Очень не хватало нам этого сильного, веселого человека — с ним даже голодать было легче.

Вот в один из таких вечеров в начале марта к нам и пришел еще раз Савел Митрич Мельгузин. Вероятно, прежде чем войти, он долго топтался у крыльца — вид у него был иззябший и жалкий.

На этот раз был Мельгузин в поношенной, грязно-желтой шубенке, которой я никогда раньше на нем не видел, из ее дыр клочьями торчала грязная шерсть. Перламутровой пуговкой мертво поблескивал из-под татарского, большеухого малахая бельмастый глаз. Через плечо у него был перекинут тяжелый мешок, оттягивавший руку.

Сняв малахай и сунув его под мышку, Мельгузин неохотно, словно по обязанности, перекрестился и только потом, покосившись в мою сторону, повернулся к маме.

— Ты уж прости, Дарья Николаевна... вот... опять пришел, — сказал он. И в живом глазу вспыхнула далекая, неяркая искорка, вспыхнула и сейчас же погасла.

Мать не ответила.

— Тут вот... не обижайся... детишкам... — Мельгузин положил на пол у порога мешок и кротко и грустно посмотрел на Подсолнышку. Потом отвернулся и молча напятил до самых глаз малахай, как будто боялся быть узнанным на улице. — Ну, прощай! — И оглянулся на маму с таким выражением, словно видел ее в последний раз.

В тот вечер я не думал, что с этим ненавистным мне человеком может произойти что-нибудь трагическое, и с нетерпением, с дрожью в руках ждал, когда он уйдет.

— Прощай, — сказал он маме еще раз. — Не поминай лихом. Теперь Данил твой скоро придет.

— Как — придет? — Мама рванулась к порогу, но у нее сразу пропали силы, она не села, а повалилась на табурет. — Как... придет?

— А вот этак, ножками, — с кривой улыбкой ответил Мельгузин. — Теперь им всем, которые против царя, — прощение... и кто бунтовал, и кто на него, на венценосца нашего, руку с топором подымал, всем... — Несколько секунд в комнате было совершенно тихо. — Иы-э-эх! — вдруг визгливо вздохнул Мельгузин и заплакал, судорожно подергивая левым плечом. — Отрекся от нас батюшка... начисто... да и кто же не отречется. ежели все, как есть, до одного — подлецы?! Божа мой, что же это теперь будет? — Он вытер кулаком слезу со щеки и, застыдившись, сморкаясь в грязный платок, ушел.

В мешке, оставленном им, оказалось около пуда белой муки крупчатки. Мама подняла мешок на табурет, отвернула его края и, погрузив руки в нежную, белую пыль, болезненно улыбалась, глядя вдаль невидящими глазами.

— Дань, там чего? — шепотом спросила Подсолнышка.

— Мука.

— Из которой хлебушек делают?

— Да.

Она засмеялась, захлопала в ладоши.

— Лепешек хочу! Мамочка, вкусненьких!..

Мама покачала головой, отгоняя раздумье, бережно отряхнула с пальцев муку.

— Оленька, затопи печку.

Через полчаса, сидя перед плитой на табурете и все тем же странным взглядом глядя перед собой, мама пекла на маленькой сковородке пресные лепешки. В комнате пахло так вкусно, как не пахло давно. Скоро Подсолнышка и Стасик, не дождавшись, когда лепешки остынут, перекидывая их с ладони на ладонь, обжигаясь, ели. А потом и мы, взрослые, хлебали вместе с детьми горячую затируху, то есть кипяток, заболтанный мукой. Это было очень вкусно.

Подсолнышка и Стасик, наевшись, смеялись счастливо и громко, и скоро, опьянев от еды, уснули. Глядя на

них, и мама и Оля улыбались, но была в улыбке обеих сдержанная грусть. И для меня во всем этом ночном празднике было что-то грустное и неприятное. Наверное, потому, что эту муку принес Мельгузин. Я ел и думал: какая все-таки непростая вещь — жизнь!

Помолившись перед иконой, мама погасила свет. Я лег на свою жесткую постель, но долго не мог уснуть.

Мы с Олей спали на полу, недалеко друг от друга, под окном. Когда Оля засыпала, я слышал ее сонное дыхание, а иногда во сне она откидывала руку и касалась меня. Но в ту ночь и Оля не спала — я слышал это по ее вздохам, по тому, как она ворочалась с боку на бок. Потом глухо, уткнувшись в подушку лицом, заплакала.

Я протянул в темноте руку, нащупал худенькие горячие пальцы девочки — они мелко-мелко дрожали. Я пожал их, они слабо шевельнулись в моей руке и затихли. Так мы и заснули.

Утром следующего дня мы узнали, что Мельгузин повесился у себя в пустом доме, повесился в переднем углу, сняв для этого с крюка тяжелую лампаду.

Когда за ним пришли с мельницы, лампада стояла на столе и еще теплилась.

В то же утро к нам как ветер ворвался Петр Максимилианович, небритый и веселый. Он бросился к маме, подхватил ее, закружил по комнате, звонко поцеловал в обе щеки.

Мама смутилась, покраснела и, когда Петр Максимилианович опустил ее на пол, торопливо отвернулась к плите. А он схватил Подсолнышку, тоже поцеловал и принялся подкидывать к потолку, выкрикивая:

— Ура! Свергли! Свергли... кровопийцу! Скоро папка Подсолнышкин придет! Амнистия политическим!

Я еще никогда не видел дядю Петю таким возбужденно-радостным, таким веселым. Он все подбрасывал Подсолнышку, и она, жмурясь от страха и удовольствия, повизгивала и смеялась.

— У-ух, хорошо! — кричал Петр Максимилианович.

И вдруг затих, доброе лицо его потемнело. Он посадил Сашеньку на постель и отошел к окну. Вероятно, думал о Надежде Максимовне, жалел, что не дожила...

— Неужели? — спросила мама, не поднимая головы.

— Конечно! — Дядя Петя повернулся от окна, улыбнулся. — Конечно, правда, Даша! — И заторопился, схватил шапку. — Побегу! Вечером приду, расскажу подробно...

Завод и мельницы не работали.

Мы с Юркой и Ленькой весь день бегали по улицам, помогали только что организованной рабочей милиции ловить переодетых городских, потом отправились к Тюремному замку.

Толпа рабочих и женщин вела нам навстречу последних заключенных, четверых из них несли на руках. Некоторое время и мы шли с этой толпой, а потом вернулись к тюрьме — очень уж хотелось побывать внутри.

Проржавленные железные ворота были распахнуты. Пустой, мертвый, без деревца и кустика, двор лежал за воротами, как каменный пустырь. Мы постояли у порога, не сразу решившись войти. Я думаю, что мои товарищи, так же как я, вспоминали Овода, двух повешенных сормовцев, дорогую нашу Джемму, погибшую в одном из этих казематов.

Никого, ни одной души не было в тюрьме, и мы осторожно, боясь нарушить тишину этого страшного места, переходили из камеры в камеру, из коридора в коридор, присматриваясь ко всему...

В одиночках темнели привинченные к стенам низенькие кровати, железные столики величиной с носовой платок. Отвратительным смрадом несло от стоявших у дверей параш. Маленькие оконца светились высоко вверху, в эти окошки не было видно неба.

Сколько людей прошло через эти камеры, сколько здесь передумано дум, сколько похоронено надежд...

На кирпичах и штукатурке стен во многих камерах виднелись выцарапанные надписи, имена, цифры, буквы... Большая часть их неоднократно затиралась, замазывалась, вероятно тюремщиками, но наиболее глубокие проступали сквозь краску и мел, их можно было прочесть, иногда — угадать.

И вот, разбирая надписи, в одной из камер в подвале мы увидели буквы НМР, чем-то тонким и острым, должно быть иглой, выцарапанные на стене.

Были ли это инициалы Надежды Максимовны Рощи-



ной — кто знает? Но через два часа мы привели в эту камеру Петра Максимилиановича, и он, сняв шапку, долго стоял перед надписью, которая была последней весточкой, дошедшей в мир живых от погибшего человека.

...Мы вернулись в город подавленные, но то, что творилось на улицах, сразу разогнало тоску.

Вместе с рабочими завода и мельниц, с машинистами и кочегарами мы ходили по улицам с красными знаменами, пели «Марсельезу», слова которой давно знали, до потери голоса кричали: «Да здравствует свобода!», не представляя себе, что до настоящей свободы еще много боев и жертв.

Опять помогали ловить по чердакам и подвалам полицейских и жандармов, разбежавшихся по всему городу тюремщиков. Помню, освобожденные из тюрьмы заключенные очень хотели поймать палача из Тюремного замка, того, кто, по двадцать пять рублей «за голову», вешал приговоренных к смерти. Если бы его нашли, его, вероятно, убили бы без всякого суда. Но ему удалось уйти. Жандармского офицера, который производил у нас последний обыск, схватили на окраине переодетым в женский салоп, укутанным в женский платок — в таком виде, сбрав свои щегольские усики, он пытался скрыться из города.

В участках камнями вышибали стекла, на площади жгли бумаги полицейского управления. Кирпичами сбили с фронтона городской управы посеребренного двуглавого орла. Огромные, в золоченых рамах портреты Николая и императрицы выкинули из окон управы на тротуар. И мы ходили по ним, стараясь наступать обязательно на лица. Это было и весело и поначалу немного страшно...

То и дело вспыхивали митинги, каждый говорил свое. В нашем городке было порядочно эсеров и меньшевиков — они разглагольствовали особенно много и горячо, и именно они вскоре стали самыми яркими врагами революции.

Со дня на день мы ждали возвращения отца, но никто из нас не ждал его с таким нетерпением, как Подсолнышка. Стоило кому-нибудь онаружи взяться за скобу двери или чьим-то шагам прозвучать на ступеньках крыльца, как Подсолнышка вся настораживалась.

К нам в те вечера справиться об отце приходили многие: и дядя Коля, и рабочие с завода, из депо, с мельниц, — только тогда я увидел, каким уважением и любовью пользовался он среди своих.

И вот — вернулся!

Было это вечером. Петр Максимилианович с Сашенькой на руках ходил из угла в угол, веселыми глазами поглядывая на споривших у стола. Потом, не отпуская Подсолнышку с рук, тоже присел к столу, вытащил из кармана газеты. На них сразу набросились — шуршащие бумажные листы пошли по рукам. Все притихли.

Кто-то начал громко читать вслух. И что удивительно: с тех пор прошло сорок лет, а я до сих пор от слова до слова помню то, что читали, хотя это была всего-навсего статья какого-то кадетствующего профессора, — я узнал об этом, конечно, позже. Громко и значительно звучали в напряженной тишине слова:

— «...Драгоценные дары народа бессовестно растрачивались преступными временщиками, облепившими трон малодушного монарха. Во главе русского правительства в критическую минуту национальной истории происками придворной клики ставились жалкие бездарности, вроде Горемыкина и Голицына...»

Слова падали в тишине, как камни. Я примостился у печки рядом с Олей. Она смотрела на читающего напряженным взглядом, нежная голубая жилка билась на ее худой шее.

Люди сидели у стола тесно, вплотную друг к другу, поэтому в комнате было полутемно. Я прикоснулся к плечу Оли рукой, она повела плечом нетерпеливо и сердито.

— Не мешай!

И опять звенели в тишине слова:

— «...Измена и предательство гнездились в царских покоях. Наглый шарлатан из полуграмотных сибирских мужиков возвысился до роли наперсника взбалмошной немецкой принцессы, презирающей Россию и русский народ. Распутин назначал и увольнял министров. И Россия в ужасе отшатнулась от этого видения разврата и бесчестия...»

Чуть скрипнув, отворилась дверь. Никто не слышал этого, никто не оглянулся. И только мне из полутьмы

была видна появившаяся в дверях фигура в коротком пиджаке и лохматой сибирской шапке.

Я еще не узнал отца, но почему-то встал. И, когда он снял шапку, я закричал: «Па-а-а-па!» — и бросился к нему. Обхватил за шею, повис и заплакал.

В комнате началось что-то невообразимое: все говорили и кричали разом. Мать, обняв отца, целовала его быстрыми, стремительными поцелуями, как будто боялась, что он уйдет, исчезнет, целовала куда придется — в щеки, в подбородок, в шею.

— Даня... родненький мой...

И Подсолнышка, сияя глазами, тянулась с рук дяди Пети к обросшему, худому отцу.

— Я же говорил, скоро свидимся! — сказал отец, беря на руки Подсолнышку. — Вот и свиделись, дорогие!

## *20. От февраля к Октябрю*

Для меня первые недели после Февральской революции пронеслись как в странном, горячечном сне, как в дыму.

Все смешалось: митинги, манифестации, крики: «Долой войну!» и «Война до победы!», крики: «Да здравствует Правительство Спасения!» и крики: «Долой десять министров-капиталистов!», надписи на полотнищах: «Привет Ленину!» и «Вернуть Ленина Вильгельму!», разгром кичигинской и карасевской лавок, голод, голод и опять голод, ночные перестрелки и убийства на улицах, и опять митинги...

Неповторимость тех дней для меня особенно подчеркивалась близостью отца. Раньше, до возвращения отца, мне казалось, что придет он с каторги — и все сразу переменится: мы будем богато и хорошо жить и даже Подсолнышка сразу станет здоровой. Но отец вернулся, а мы продолжали жить в том же барутинском бараке и так же впроголодь, как жили последние два года войны, выстаивая по несколько часов в хлебных очередях. Не было ни соли, ни сахара — ничего, по чему мы так стосковались за годы войны. И так же болела Сашенька, и одеты мы были в лохмотья.

Опять работали мельницы и завод. Опять по утрам тянулись по знакомым тропкам и улицам вереницы полуголодных людей, чтобы на весь день стать к станкам, к паровозным топкам и на погрузочные мостки.

И мне, как и раньше, приходилось с утра до вечера дышать смрадом и гарью литейки. Мы тогда отливали колеса и вертлюги для пулеметов «максим», и работал я на разливе. И если раньше меня увлекал сам процесс литья, то теперь за каждой опокой<sup>1</sup>, в которую мне приходилось заливать металл, как бы незримо стояли неизвестные мне люди, которые в те дни умирали на фронте.

В нашем городе тогда было много пленных. На вид они казались обыкновенными людьми — не верилось, что это они потопили «Лузитанию» с тысячей пассажиров на борту и госпитальное судно «Португалия»<sup>2</sup> с ранеными солдатами, что это они выкалывали нашим солдатам глаза и убивали детей. И постепенно подвиги легендарного Кузьмы Крюкова и других наших героев и даже подвиг французского авиатора Роланда Гарро, протаранившего своим самолетом немецкий цеппелин и погибшего при этом, перестали мне казаться подвигами.

Отец стал все меньше бывать дома: большевики выбрали его своим представителем во Временный комитет, и он все дни проводил на собраниях, ссорясь с меньшевиками и эсерами, требуя помощи хлебом голодающему населению. Два раза в него стреляли из-за угла.

А потом, прежде чем уйти совсем в подполье, после разгрома июльской демонстрации в Петрограде, комитет РСДРП послал его на работу в деревню. Бывший батрак, он прекрасно знал интересы и нужды беднейшего крестьянства, которое надо было подготовить к решительной борьбе против Временного правительства, к Октябрьским боям.

Октябрьская революция прошла в нашем городе, как тогда говорили, «малой кровью». Буржуазия и помещики, все эти Тегины, Барутины и Кичигины, разбежались, эсеры и меньшевики притаились.

---

<sup>1</sup> Форма для литья.

<sup>2</sup> «Лузитания» — пассажирское, а «Португалия» — госпитальное суда, потопленные немцами во время первой мировой войны.

Но, когда в Сибири восстали против советской власти отправлявшиеся на родину чехословацкие эшелоны, когда «верховный правитель» адмирал Колчак, собрав под свои палаческие знамена всю контрреволюцию, двинулся на запад, когда в Самаре было организовано Учредительное собрание и большинство городов Среднего Поволжья заняли белые, тогда и в нашем городе произошли события, незабываемые по своей бесчеловечной жестокости.

## 21. „Будет сделано!“

После Октября мы перебрались из барака в огромный особняк на Большой улице, принадлежавший помещику Дедилину, бежавшему из города.

Это был дом со множеством комнат, с большим залом, где лепной потолок подпирался колоннами и арками, а стеклянную корону над парадным входом держали на плечах два мускулистых бородатых атланта<sup>1</sup>.

В доме были широкие мраморные лестницы, на площадках стояли бронзовые рыцари с алебардами в руках. В комнатах от пола до потолка поднимались зеркала, на картинах нестерпимо синее море билось о береговые утесы и томно улыбались изящные дамы с обнаженными плечами.

Мама вначале никак не хотела туда переезжать:

— Чужое же, Даня! За всю жизнь чужой нитки не взяли!

Но отец только смеялся:

— Наше! Все нашими руками, нашим потом сработано.

В дедилинский особняк переехали вместе с нами десять семей. Первое время Подсолнышка целыми днями ходила по залу от зеркала к зеркалу, кокетливо рассматривала себя и чуть слышно смеялась. Это нас всех очень забавляло.

В свободную минуту, взяв Подсолнышку на руки, отец бродил с ней по залу, останавливался перед картинами и зеркалами.

---

<sup>1</sup> В данном случае — статун, служащие архитектурным украшением здания.



*В свободную минуту, взяв Подсолнышку на руки, отец бродил с ней по залу...*

— Ну, дочка, нравится тебе здесь жить? — спрашивал отец.

— Нравится. — Солнышка задумывалась и потом спрашивала что-нибудь неожиданное, свое: — Пап, а в буржуевых во всех домах такие зеркала? И пол во всех домах клеточками?

— Нет, доченька, не во всех. В некоторых.

— Значит, этот дом — некоторый, — глубокомысленно говорила она.

Один раз спросила:

— Пап, а нас скоро отсюда выгонят?

Отец нахмурился, не ответил.

И, когда под грохот белогвардейских орудий мы покидали дедилинский дом, отец больше всего жалел об этом из-за Подсолнышки: после такого великолепия тяжело было переезжать в подвал, где на стенах зеленели пятна плесени и ползали мокрицы.

Возвращаться в барутинские бараки, где нас все знали, отец не решился: по слухам, белые, занимая города, целиком уничтожали семьи коммунистов. И мы переехали на Тюремную сторону.

Бои шли на подступах к городу — от орудийных раскатов с утра до вечера звенели в окнах стекла.

Отец и Петр Максимилианович были где-то у вокзала, руководили обороной. Мне не терпелось оставить все и побежать к ним.

Но отец, уходя, велел сидеть дома. Да и Подсолнышка с неожиданной настойчивостью цеплялась за меня — крупные, как горох, слезы катились по ее щекам. А я никогда никого так не любил, как этого маленького, ясноглазого, больного человечка.

Белые наступали на город большими силами, с орудиями, с пулеметами, с броневиком, а у рабочих дружин были только винтовки, да и то мало.

Уже к полудню второго дня боев колчаковцы заняли вокзал и кладбище и, выкатив на кладбищенские аллеи свои трехдюймовки и срубив несколько мешавших им лип, принялись обстреливать город. Все чаще рвались на улицах снаряды. И скоро черный шлейф огромного пожара, роняя на дома искры, потянулся над городом.

Перед тем как наши отступили за город, к Святому озеру, отец забежал на несколько минут домой. В кожа-

ной куртке, с винтовкой за плечами, грязный и запыхавшийся, он торопливо обнял маму, Подсолнышку, на секунду прижался щекой к ее голове.

Положил на стол полбуханки хлеба и банку солдатских консервов. На дворе его ждали, и кто-то нетерпеливо стучал ногой в переплет рамы.

— Ну ладно! — сказал отец. — Вернемся... Данил, береги их! — И пошел к двери.

В первые же два дня белые расстреляли и замучили в нашем городе больше двух тысяч человек — в штабе охраны, в тюрьме и контрразведке, просто на улицах.

На площадях валялись трупы — под страхом смерти их не разрешалось убирать. На деревьях в городском саду висели тела членов ревкома Климова, Назарова и Ключевой, оставшихся для связи в городе.

Мы все это время жили в ожидании расправы. Мама вздрагивала и бледнела от каждого громкого звука за окном — при перестуке копыт, при выстрелах, при крике. На ее измученное лицо страшно было смотреть.

На третий день, уже в сумерки, к нам зашла сгорбленная старушка нищенка, в черном монашеском платке, с холщовой сумой и длинной клюкой в руке. Долго и истово крестилась на пустой передний угол, глядя из-под платка глубоко провалившимися темными глазами.

— Подайте милостыню, Христа ради...

В доме ничего не было, кроме куса хлеба для детей, и мать пригласила нищенку попить «чаю». Кряхтя и крестясь, старуха положила на пол у порога свою суму, прошла. У нее было темное, иссеченное глубокими морщинами лицо и старушечий, выдающийся вперед подбородок.

Держа на длинных растопыренных пальцах блюдечко и дуя на «чай», нищенка глотала кипяток и не спеша рассказывала о том, как свирепствуют по селам каратели. Деревню Каиновку, за уклонение от объявленной белыми мобилизации, «постреляли насквозь из орудиев, а опосля сожгли».

— И еще, вишь, приказ вышел: нам же платить за это смертоубийство! За бомбы то есть...

— А люди где же? — спросила мамка.

— Да ведь которых жизни не решили, по лесам хонянутся...



Выпив две кружки «чаю», нищенка опять долго крестилась на пустой угол. Меня смущал ее пристальный взгляд. Она как будто все время прицеливалась в меня своими темными, запавшими глазами. Покрестившись, она неожиданно повернулась ко мне и спросила:

— Звать-то Данилой?

— Да-а-а...

— Грамотной?

— Да-а.

Ушла к порогу, порылась в суме и вытащила небольшой кусок хлеба. Разломив его, достала сложенную в несколько раз бумажку.

— На-ка. Читай.

Я взял бумажку, развернул и чуть не закричал от радости: от отца!

«Данил! — было написано в ней. — Надо спалить мельничный мост, иначе беляки вывезут из города весь хлеб».

Записку прочитали и мама и Оля. Обе, побледнев, смотрели на меня. А я еще раз перечитал эти двенадцать слов. Значит, отец жив, они борются, и он доверяет мне, как взрослому, как товарищу!

Я порвал записку и бросил ее в печь. Потом я очень жалел об этом: это было единственное адресованное мне письмо отца.

Старуха собралась уходить.

— Спасибо на угощении, — сказала она, кланяясь матери. И опять посмотрела на меня. — Передать чего не надо ли, сынок?

— Скажите: будет сделано!

— Ну, благослови тебя бог...

Комендантский час начинался с восьми. Появившихся на улице позднее расстреливали на месте. И все-таки надо было идти.

Стемнело. Мама сидела у стола и, не говоря ни слова, следила за мной.

Больше всего я боялся, что она начнет плакать и решимость оставит меня, поэтому собирался с суровой торпливостью и молча. Но мама не заплакала, только, когда я уже взялся за скобу двери, поспешно поднялась.

Подошла к порогу, крепко обняла меня и перекрестила.

А Оля вдруг сорвалась с места, судорожным движением накинула на плечи темный, оставшийся после матери платок.

— Куда? — спросила мама.

— С ним.

Несколько секунд мама неподвижно смотрела на Олю, потом губы у нее дрогнули, она торопливо поцеловала девочку в лоб, в глаза, перекрестила. Видимо, она испытывала к Оле чувство благодарности — такое же, как испытывал я. С самого получения записки я думал: хорошо, если б Оля пошла со мной. Тогда бы я ничего не боялся. А вот теперь, когда она встала рядом, готовая идти, я испугался: а вдруг эту дорогую мне девчонку убьют?!

— Вот выдумала! — грубо сказал я, глядя в сторону, боясь, что глаза выдадут меня. — Только девчонок там не хватало!

— Помолчи! — ответила она.

И недетским, женским движением порывисто обняла маму, поцеловала спящего братишку и Сашеньку и сказала мне так, как будто не мне, а ей было поручено это опасное и трудное дело:

— Пошли... Пстой, посмотрю сначала...

Неслышно выскользнула на улицу и через полминуты постучала в окно. Я вышел.

Мы долго пробирались задами и огородами, а когда ближе к центру огорода кончились, перебежали со двора во двор, от дома к дому.

Мы решили сначала пройти к Юрке и Ленке.

Луна еще не взошла. Ни в одном доме не было света. Город как будто вымер. Где-то далеко, в стороне Святого озера, стреляли, — может быть, это отряд отца отбивался от посланных за ним карателей? Возле рынка горел писчебумажный магазин Лонгера. Позолоченные звезды на куполе церкви блестели, багровые струи света текли и текли по куполу вниз.

Громко, как удары молота по наковальне, стучали в ночной тишине шаги патруля. Солдаты шли по двое, по трое серединой улиц, освещенные пугающим светом пожара. На деревьях висели трупы. Неподвижные, странно плоские тела убитых лежали на мостовой, а камни блестели и под огнем, казалось, шевелились как живые.

На улицах стало светло. Из-за Калетинского парка поднималась полная оранжевая луна — как будто кто-то огромный и злой с пристальной и холодной жестокостью прицеливался в опустевшую вдруг землю.

На Проломной улице мы чуть не натолкнулись на патруль — он неожиданно вывернулся из-за магазина Кичигина.

Я успел толкнуть Олю в темную глубокую нишу ворот, прижался к ней спиной — на наше счастье луна освещала противоположную сторону улицы.

Патруль прошел мимо: два пожилых солдата мирно покуривали, один не торопясь рассказывал другому:

— А у нас, браток, на Кубани, винограду этого самого — пропасть... Как это август пристигнет...

Я чувствовал, что у меня слабеет от напряжения тело и подгибаются колени.

Глубоко, прерывисто вздохнула Оля, обняла меня сзади рукой за шею, сильно прижалась головой к моей спине.

— Ну, пошли, — сказала она, когда шаги затихли вдали.

Мы осторожно выбрались из спасительной тьмы и, крадучись, прижимаясь к заборам и стенам, пошли дальше.

До дома Юрки оставалось недалеко.

## 22. На мосту

Весь следующий день я и Юрка пролежали, притаившись, в зарослях Калетинского парка, наблюдая за движением по узкоколейке.

Это было в конце сентября, но день был теплый, почти жаркий. Чистым голубым зеркалом лежал перед нами пруд. И мельница на той стороне, и ветлы на берегу, и проходная будка на мельничный двор, и сам мост, по которому зеленый паровозик тащил груженный мешками состав, — все это как будто оставалось прежним и все-таки было другим, не таким, как всегда, все было наполнено тревожным и угрожающим смыслом.

Через наши головы на воду летели желтые листья и,

мерно покачиваясь, гонимые почти неощутимым ветром, уплывали под мост. На широких листьях кувшинок сидели пучеглазые зеленые лягушки — мне до зуда в ладонях хотелось набрать камней и распугать их. Но я не двигался, не шевелился и все смотрел сквозь уже подсохшее кружево папоротника, сквозь узорчатую листву малины на мельничный мост.

В течение дня с мельничного двора ушло два груженных состава.

На последней вагонетке сидел усатый казак в папахе и, положив карабин на колени, негромко и тоскливо пел:

Поихав казак на чужбину далеко...  
На вирном своим на кони... вороном...

Никто, кроме часовых, на мосту не появлялся. Белогвардейцы запретили хождение по нему, и теперь для того, чтобы с вокзала попасть в город, надо было огигать Калетинский парк.

— Девятнадцать... двадцать... двадцать одна! — шепотом считал Юрка вагонетки. — Столько хлеба! И как это мы раньше не догадались!

Я молчал: отвечать было нечего. Молчал и думал об Оле, которая вместе с Ленкой пошла доставать бензин. Думал, что белые могут сцапать ее где-нибудь на улице, на базаре и, если сцапают, будут мучить и бить.

— А ты как считаешь, Данька, — Юрка повернулся ко мне, — когда совсем вырастем — будут еще войны?

— Наверно, будут... Помнишь, Надежда Максимовна говорила...

Юрка тяжело вздохнул:

— А жалко ее, правда? Вот бы она нас увидела! Похвалила бы, как думаешь?

— Сам же говоришь: раньше надо было...

— Это — да! — Юрка помолчал немного, но что-то странное происходило с ним: не мог долго молчать. Спросил: — А тебе не страшно?

— А чего же страшного? Вот принесут бензин — он знаешь у нас как полыхнет! А мы с моста в пруд...

И опять лежали, глядя на понурую фигуру часового, мерно шагавшего по шпалам моста. Он все время смотрел под ноги: видимо, боялся оступиться.

— Данька! — Юрка рывком повернулся ко мне. — А ножик есть?

— На что?

— Так ведь шланги порезать надо! Иначе любой огонь зальют — никакой бензин не поможет.

— Верно!

Нож у меня был, надо было достать второй, чтобы перерезать оба пожарных шланга одновременно. С тысяча девятьсот шестого года, когда мост отстроили после пожара, шланги хранились на концах моста в красных деревянных ящиках. Ящики не запирались — это мы знали.

— У Леньки есть нож?

— Наверно.

— Вот его и пошлем на ту сторону.

— А как же он с одной-то рукой?

— А больше кому же?..

Через час зеленый паровозик протащил с вокзала на мельницу пустые платформы. Усатый казак, сбив на затылок папаху, облокотился грудью на заднюю стенку вагонетки и хмуро смотрел на чужой ему город.

На этот раз мы заметили и второго белогвардейца, в офицерской форме. С папироской в зубах, он стоял в будке паровоза рядом с машинистом.

— Видишь, Юрок?

— Вижу.

Солнце перешло на западную половину неба и светило теперь прямо в глаза, мешая смотреть.

Стало жарко, хотелось пить и спать. Сказывалась ночь без сна; я задремал. Приснилась странная, вся пронизанная солнечным светом ерунда. Будто рыбачим мы на Чармыше и Оля подолом юбки ловит под корягой пшеничные лепешки. А потом приснилось, что мы с ней опять пробираемся по мертвым, безлюдным улицам, а на стенах пляшут отсветы пожара.

Проснулся я со ртом, полным слюны, с головной болью. Юрка лежал, положив подбородок на скрещенные на земле руки. Увидев, что я проснулся, он повернулся на спину, долго смотрел в небо. Вздохнул, сказал:

— Вот вырастет, Данька... и везде будет советская власть... никаких буржуев не будет, а все рабочие будут богатые... Правда?

— Ясно, — сонно ответил я.

— И хворать, как твоя Сашка, никто не будет... И обижать друг друга не будут... И нищих не будет... И в магазинах будет все, что хочешь, — приходи и бери... Тогда, наверное, куда захочешь, туда и поехал без всякого билета. А? Ты бы куда?

— Я бы — в Индию. А потом еще на эти... на острова... на Гавайские...

Сзади послышался негромкий условный свист — вернулись Оля с Ленькой. Стараясь не задевать кусты, мы отползли в глубь парка.

Ленька сидел на корточках и, сморщившись, выдирает из своей шевелюры репьи. На его веснушчатом носике блестели капли пота. Оля неподвижно лежала рядом с Ленькой, уткнув лицо в желтую, недавно опавшую листву. Можно было подумать, что она спит. Ей, наверное, как и мне, хотелось спать: ночью не сомкнула глаз.

— Ну? — нетерпеливо спросил Юрка.

— Вот! — Ленька торжествующе показал на тряпицу, из которой, матово поблескивая, торчали три бутылочных горлышка.

— Где взяли?

— У Титихи. Она на базаре для зажигалок продает. Сначала — ни в какую... «А чем, говорит, я орду мою кормить буду?» А когда мы рассказали — даже заплакала. «Милые вы, говорит, голуби сизые... А ежели они поубивают вас на мосту?»

— Ну?

— А Оля: «Пусть убивают! Зато люди с голоду помирать не будут, когда этих сволочей выгонят...»

— Молодчик, Оля! — похвалил Юрка.

Оля устало поднялась, сунула руку за пазуху и вытащила кусок хлеба.

— Вот... это вам... мы с Ленькой ели.

Хлеб был теплый от ее тела. Я немного поел, но есть сразу все стало жалко. Я вернул оставшийся кусочек:

— Не хочу.

Она вскинула на меня свои горячие, повлажневшие глаза и, тотчас же опустив их, взяла хлеб... Потом, уже в тюрьме, вспоминая о ней, я подумал, что так и осталась эта корочка у нее за пазухой...

Мост мы подожгли сразу в трех местах уже под утро,

когда часовой устал ходить и, остановившись у мельничного берега, задумался, опершись на перила.

Осторожно, боясь выдать себя, мы по пояс в воде выбрались из парка. А за час до этого Ленька ушел через лаз в Вокзальном переулке — обрезать на мельничной стороне пожарный шланг.

Ночь была прохладная. Над прудом тянулись белые нити тумана.

До восхода солнца было еще далеко, но уже начала таять та чернильная ночная тьма, которая так обычна в наших местах в сентябре после захода луны.

Город спал, глухая мертвая тишина наполняла его улицы.

Мне вспомнилась афиша «Таинственной руки»: над городом, утопающим в сиреневых сумерках, распростерлась зловещая пятерня, готовая задушить все живое.

Сходство между городом на афише и нашим городом заключалось не в красках, не в рисунке домов или улиц, смутно видимых в предрассветной мгле, а в тревоге, которая стискивала сердце при взгляде на него. Тишина — только на вокзале гудели без конца паровозы...

Стараясь не зашуршать кустарником и травой, не плеснуть водой, мы выкарабкались на берег и на несколько мгновений притаились прислушиваясь. Все было спокойно: та же гнетущая тишина обнимала город.

— Подождите, — шепнул Юрка, доставая нож. И, согнувшись, побежал в сторону ящика со шлангом.

А через десять минут, ступая по-кошачьи неслышно, он вернулся и пошел в дальний конец моста, туда, где, освещенный красноватым светом фонаря, дремал часовой.

За Юркой, плотно прижимаясь к перилам, двинулся я — мне предстояло дойти до середины моста. А уж за мной шла Оля. Страх за нее охватил меня. Когда мы поднимались по откосу насыпи к мосту, я попытался остановить ее.

— Дай бутылку... я сам... — шепнул я. — Успею в двух местах.

Она молча оттолкнула меня.

Стало светлее, но туман сделался гуще. Смутно видимая, шагах в двадцати от нас, двигалась по мосту тень Юрки.

Оля осталась у начала моста, я пошел дальше. Добравшись до середины, присел на корточки, поставил рядом бутылку и дрожащими пальцами вытащил из кармана спички.

Руки не слушались, я боялся, что опоздаю, не успею вылить бензин и поджечь, что-нибудь помешает.

И вдруг услышал тоненький, жалобный, заячий вскрик. Мы так и не узнали никогда, что произошло с Ленькой, — вероятно, часовой заметил его.

И почти в тот же момент во весь голос закричал Юрка, хотя кричать ему не следовало, вероятно со страха или чтобы подбодрить Леньку.

Тонко звякнуло стекло разбитой бутылки, ослепительным снопом вспыхнуло пламя. И сейчас же темная тень метнулась через перила. По всплескам я догадался, что Юрка плыл к парку...

Тогда и я, еще раз оглянувшись на неподвижный и едва различимый силуэт Оли на другом конце моста, с размаху швырнул бутылку. Холодные капли брызнули мне на руки, на босые ноги.

Руки у меня дрожали все сильнее. Первая спичка, которую я с трудом зажег, погасла. Тогда я присел на корточки, зажег вторую, дал ей разгореться и уж потом швырнул ее на осколки бутылки, в темную лужу, растекавшуюся по брусьям.

Вспыхнуло пламя. Все кругом стало непроницаемо темно.

Я вскарабкался на перила, хотел прыгнуть в пруд, но тут услышал голос Оли. Там, где осталась девочка, тоже поднимался столб пламени, и за этим пламенем она кричала.

И, вместо того чтобы прыгнуть в воду и плыть к парку, как было условлено, я побежал назад. И, когда я был возле Оли, раздались выстрелы.

Это был, видимо, случайный патруль, который, обходя город, услышал шум на мосту.

Когда я спрыгнул с перил, Оля лежала, подмяв под себя правую руку, запрокинув голову. В двух шагах от нее бушевало пламя.

Я приподнял ее, потащил от огня.

— Больно-о... Пусти-и...



Рукам стало тепло и мокро, — я не сразу догадался, что по ним течет кровь.

Оля становилась тяжелее с каждой секундой, я тащил ее к берегу, напрягаясь из последних сил.

Каблуки ее ботинок громко стучали по шпальным брускам.

— Потерпи, сейчас... — бормотал я.

Внезапно кто-то ударил меня сзади и обхватил за шею. Я рванулся, выпустил Олю, стараясь укусить державшую меня руку. Оглянувшись на мгновение, увидел искаженное злобой, освещенное прыгающим светом бордатовое лицо.

— Девку тащи! — крикнул кто-то с берега из темноты.

— Пушай горит, сука! — прохрипел в ответ тот, который держал меня.

Меня волокли по мосту, отступая перед надвигающимся огнем, тащили и били, и во рту у меня было солоно, и десны резали осколки выбитых зубов. Бросили меня у начала моста, там, где валялись куски искромсанного Юркой пожарного шланга. Я лежал, плача от боли. И вдруг услышал — на мосту закричала Оля:

— Ма-а-ма!

Шатаясь, я встал, рванулся туда, к мосту, где на фоне пламени метались темные фигуры людей, пытавшихся погасить огонь. Но меня ударили сзади, и я опять полетел на землю. Земля пахла мазутом и тиной.

Кто-то сильно пнул меня в бок:

— Встань, гад!

Я лежал.

— Подняты!

Чьи-то руки подхватили меня, встряхнули. Прямо перед собой я увидел нервно вздрагивающее худощавое лицо с черными усами, с ярко-красными губами. Офицер смотрел на меня с такой ненавистью, что у меня похолодела спина.

— Кто послал? — спросил он сквозь зубы.

Я не ответил. В это время на мосту снова застонала Оля, и я опять рванулся туда.

Офицер усмехнулся:

— Жалко?

— Этого краснюка тоже не мешало бы поджарить



— Потерпи, сейчас... — бормотал я.

малость, — громко сказал кто-то за моей спиной. — Тогда скажет...

— И так скажет!

Офицер повернулся к пылающему мосту.

Мне скрутили руки назад, связали ноги и швырнули в кузов автомашины. Прижимаясь щекой к доскам, я лежал и вслушивался в голоса людей на мосту. Через несколько минут казаки приволокли из парка избитого до полусмерти Юрку и тоже швырнули в кузов.

## ***23. „Это они перед смертью лютуют...“***

Нас отвезли в Тюремный замок.

Как сквозь сон помню — тащили по коридорам и били чем-то тяжелым и тупым по голове. Потом распахнулась темная дыра двери, оттуда пахнуло тленом и плесенью.

Меня поставили на пороге и толкнули с такой силой, что я пролетел через всю камеру, ударился о противоположную стену и только тогда упал.

Сколько я пролежал без сознания — не знаю.

Очнулся оттого, что к моему разбитому, пылающему лбу кто-то прикладывал влажную тряпку. Тряпка остро пахла плесенью и чуть-чуть камнем. Но прикосновение все же было приятно: оно освежало. И сразу до спазм в горле захотелось пить.

Я пошевелился, повернул голову.

Тусклым красноватым пятном горела в квадратной фрамуге над дверью керосиновая лампа.

Негромкий спокойный басок спросил из темноты надо мной:

— Отошел чуток?

Едва освещенный тусклым красноватым светом, падающим из фрамуги, на полу возле меня сидел большой бородатый человек, немного напоминающий Петра Максимилиановича, такого, каким он пришел с каторги. Лица разглядеть я не мог.

— Испить хочешь? — спросил бородатый. Глаза его синевато блеснули в полутьме. — Так ведь нету, милый, водицы. Тряпочку, я ее вон в углу намочил, в калюжине — со стен текет. Ну, ежели пососать тряпку-то, — легчает... Спытай-ка...

Он провел по моим губам тряпкой, и мне действительно стало легче. Я закрыл глаза, и перед ними снова вспыхнул огонь пожара, и я опять потащил Олю по мосту...

— За что они тебя? — из какой-то далекой дали спросил голос бородатого.

— Мост сожгли... на мельницу...

— А-а-а! — с удивлением протянул он. — За это, конечно, положено. Это им нож в горло... — Помолчал, вздохнул: — Эх, покурить бы... напоследок... У нас, в Каиновке, скажу я тебе, во всех дворах самосад первеючий... Да-а... Сам-то чей?

Я назвал свою фамилию.

— Данил Никитича?

— Да.

— Вон что!.. Знаю, как же... В июле, в самую страду к нам в Каиновку приезжал... от большевиков... Все обсказывал. Землю, дескать, крестьянам. И чтобы никакой войны. Ну, а нам чего же еще?.. Землю-то у нас всю богатеи захапали. У нас их, мироедов, двое: Степанов да еще Паршин Гаврил. Всю как есть землю под себя постелили. Бедняку онучи посушить выкинуть некуда...

Он долго молчал, словно прислушиваясь к звону капель, падающих на каменный пол. Потом продолжал:

— Приехал твой отец, значит, к нам и третьего дня... «Что же, мужики, говорит, до каких пор терпеть будете? Иль вас не касает, что в соседнем селе баб да детишек каратели из пулеметов мертвят? Чего ждете?» Ну и поднялись все...

Падали в тишине капли, и перед моими глазами лилась вода с мельничной плотины и расстилались голубые просторы Калетинского пруда... Я спросил, не открывая глаз, с трудом разжимая запекшиеся губы:

— А вы, дядя, большевик?

— Я-то? А как же, милый... У кого за народ душа

горит — обязательно большевик... Нету ему другой пути. Вот и ты, видать, той же стезей пошел... — Он опять помолчал и опять вздохнул. — Боже мой, до чего же покурить охота.

По коридору глухо и тяжело протопали шаги, на секунду вспыхнуло в двери желтое отверстие волчка.

— Глядят! Всю ночь глядят! — усмехнулся бородастый. — А чего глядеть? — Он что-то искал у себя в кармане и сунул мне в руку мягкий, липкий комок.

— На-ка... Мне теперь хлеб ни к чему... доел я на земле свою долю... Хлебушек-то, конечно, с лебедой, бедняцкий. А ежели горчит больно, так это еще от самосаду, — в карман прямо насыпал, без кисету. Ешь...

Хлеб действительно был горький, вязкий, как глина, — глотать его было трудно. Да и голода особенного я в те минуты не чувствовал — может быть, потому, что очень многое пришлось за последние сутки пережить. Я лежал с полужакрытыми глазами и словно сквозь сон слушал глухое бормотание соседа.

А он, вероятно, и не интересовался тем, слышу я его или нет, просто думал вслух, говорил сам с собой, в последние, еще принадлежавшие ему часы жизни перебирал в памяти самое дорогое, что приходилось ему оставлять на земле.

— Детишек у нас с бабой было семеро, ну троих господь прибрал еще по малолетству... одного даже окстить не успели, так без имени и помер... может, и к лучшему... а двух девчоночек хворь какая-то скорая пристигла, не успели мы с Фисой и оглянуться — мертвенькие... И то спасибо сказать можно, — намаялась бы теперь одна, без пахаря... Старшему мальчонке в прошлом году на зимнего Миколу пятнадцатый пошел, да и тощей он, слабосильный, какой из него пахарь... Да и пахать не на чем... Была кобыленка, всю жизнь на нее деньги по пятаку копил, — в царскую службу взяли — воевать, вишь, германца не на чем... Ох, боже ты мой, покурить бы маленько...

Он долго молчал, опустив на грудь тяжелую бородастую голову, потом вздохнул, посмотрел в крохотное, едва различимое окошко высоко над головой...

— И вот скажи ты, как все безо всякой, можно сказать, справедливости происходит... Только теперь бы и

жить... Мироедов наших, Паршиных там да Степановых, революция под самый корень порезала, нету им теперь никакого дыхания. Земля, значит, определяется простому народу, трудящему, паши ее, матушку, сей, всё как есть по Ленину, по жизни... Только бы, говорю, и жить... А тут — вот, на! И как это они меня, гады, осилили? Я уж, знаешь, парень, и кулаками от них, и зубами, нет, не одолел. Без малого с десятков их на меня навалилось... — Он долго молчал, с хрипом дыша. — И до чего же помирать мне сейчас невозможно, прямо слов никаких нету... Первое дело — земля... А второе — ну как же Фиска одна с ними, с четырьмя-то ртами, совладает, как их к жизни определит? А? — Снова тяжело вздохнул, почесал под пиджаком грудь. — Только и надежда вся: не волки же кругом — люди...

Я стиснул в руке хлеб и забылся. И опять — полувявь, полусон, и в нем все, из чего сложилась моя пятнадцатилетняя жизнь: милые глаза Подсолнышки, строгая ласковость мамки, запах отцовского табака, заросли тальника на Чармыше и тенистые чащи Калетинского парка, милые губы Оли, песни Петра Максимилиановича, грустная улыбка Надежды Максимовны, копоть и гарь литейного цеха...

Разбудил меня грохот засовов.

В светлом четырехугольнике двери стояли два казака в коротких шинелях.

— Кто тут каиновский? Выходи!

— Это за мной, — сказал бородатый и зачем-то принялся застегивать пиджак. — Прощай, значит... Ты их не робь... Это они перед смертью лютуют...

— Кому сказано, красная сволочь?! Выходи сей же час!

— А торопиться-то мне куда?.. К теще на блины? — бесстрашно и даже лениво спросил мой сосед, не спеша поднимаясь. — Успеете, гниды, справить свою палаческую службу...

Опираясь ладонью о стену, он с трудом встал.

— Ногу-то, видать, мне начисто поломали, сволочи... ровно в огне вся горит...

Стоявший в дверях конвойный не спеша достал красный атласный кисет, свернул самокрутку, высек кресалом огонька, закурил. Бородатый с жадностью потянулся

к нему, облизнул губы. Закуривший сказал, блестя в свете папирсы выпуклыми красивыми глазами:

— Вроде ты, большевичок, перед смертью табачком побаловаться жадничал? За дверью-то все твои слезы слыхать... На вот справляй последнее свое удовольствие...

Он протянул кисет, красневший в его руке, словно сгусток крови. Я услышал, как бородатый рванулся в темноте к двери и, видимо, наступив на поврежденную ногу, застонал. Я ждал, что он сейчас схватит протянутый ему кисет и примется благодарить... Но он только за скрипел зубами — наверное, очень болела нога — и сказал:

— Это чтобы я перед святой своей смертью твоим папаческим табачишком поганился? Нет. Не требуется!

И, прыгая на одной ноге, опираясь ладонью о стену, стал подвигаться к двери.

— Ишь, гордый какой! — усмехнулся казак. — К нему по всему человечеству, с доброй душой, а он...

— Большевик, он и есть большевик! Зверь! — отозвался другой конвоир. И зло рывкнул: — Ну, шагай, упокойничек! Сейчас тебе в аду черти дадут прикурить!

И, схватив бородатого за руку, рванул с такой силой, что тот вылетел в коридор и только там упал. Тяжело, скрипя петлями, захлопнулась дверь, ржаво залязгал засов. Через несколько минут шаги и голоса затихли вдали — их как бы отрезал от меня железный скрежет выходной двери...

А я лежал и думал, что через полчаса этого бородатого смелого человека заруют в землю рядом с повешенными сормовцами и тетей Надей. А может быть, и не заруют совсем, а просто выбросят за ворота тюрьмы в какую-нибудь яму. А потом придут за мной.

И, хотя это было очень страшно, я думал, что отец узнает про мост и скажет: молодец, Данька, не подвел!

Эта ночь, последняя ночь детства, была самой длинной ночью в моей жизни. Не раз и не два, а может быть, сотню раз перебрал я в памяти все, что было у меня самого дорогого, самого заветного.

Избитое тело болело. От каменного пола и стен несло сыростью и смрадом. В голове у меня мутилось от жажды, и то, что я вспоминал, проходило передо мной, как

бы занавешенное кровавым туманом, искажавшим воспоминания, уводившим на грань кошмара...

Несколько раз я начинал плакать, но слезы не приносили облегчения. Конечно, я не надеялся, что выйду из тюрьмы живым. Я все ждал скрежета ключа в замке, желтого света фонаря в четырехугольнике распахнутой двери и страшного приказа: «Выходи!» Но в тюрьме было тихо как в могиле.

Камера, в которой я сидел, помещалась в подвале, окна в ней не было, керосиновая лампа над дверью стала чадить и скоро погасла — сколько времени прошло, я не знал. Я то впадал в забытие, то на какие-то считанные минуты ко мне возвращалось сознание. В одну из таких минут, волоча по камням избитое тело, я отполз в угол, откуда доносился плеск падающих капель, и прямо с пола слизывал застоявшуюся в трещинах между камнями вонючую воду.

Не могу определить, через сколько часов или дней сквозь стены до меня стали доноситься глухие, далекие взрывы, от которых вздрагивала земля. Они становились громче, ближе, но я не сразу понял, что это гул артиллерийской канонады. Слабая надежда проснулась во мне: значит, опять идет бой! Моему воспаленному воображению рисовался отец — в кожаной куртке, с винтовкой за плечами, он командовал наступлением на тюрьму. Но я ошибся: не партизаны, а регулярные красные части наступали на город с юга, от Самары. Узнал я об этом позже, когда очнулся от яркого солнечного света на тюремном дворе...

Красноармейцы в буденовских шлемах выводили и выносили из тюрьмы живых и мертвых. Многих заключенных так избили, что на них страшно было смотреть.

Юрка тоже остался жив: в суматохе отступления колчаковцы не успели расправиться с нами. У Юрки было разбито все лицо, на месте левого глаза зияла затянута синей опухолью рана.

Когда я увидел Юрку выходящим вслед за мной из подвала тюрьмы, я почему-то не почувствовал радости, — может быть, потому, что слишком многое было пережито за эти дни, даже радость была непосильной, даже она причиняла боль...



Вместе с красноармейцами мы пошли в город. Проходя мимо Калетинского пруда, увидели торчавшие низко над водой остатки сгоревших свай. Я смотрел на то место пруда, над которым в ночь пожара тащил по мосту раненую Олю. Вода между черными огрызками свай была спокойна, по ней, гонимые холодным осенним ветром, плыли желтые тополиные листья.

И вдруг я сорвался с места, побежал — меня как будто толкнула мысль: сейчас увижу отца! Ведь, наверное, и его отряд вместе с частями Красной Армии вступил в город. Я оглянулся на Юрку, крикнул ему что-то, и он побежал за мной. Все во мне пело и ликовало: сейчас, сейчас! И только на Проломной улице мы остановились: перейти улицу мешала целая колонна подвод. Лошади шли лениво, и люди шагали возле телег, медлительные и суровые. Я не сразу разглядел страшный груз, лежавший в телегах, а когда разглядел, у меня болезненно сжалось сердце.

На каждой телеге стояли два гроба с заколоченными крышками, простые, некрашенные, сколоченные из старых, тронутых гнилью, бывших в деле досок. И на каждом гробу было что-то написано мелом. Как привязанный, я пошел следом за этим длинным страшным обозом.

На одном гробу белели буквы: «Сташинский Петр». Я забежал с другой стороны. На боковой стенке было написано: «Данил Костров»... Лица отца я так больше и не видел: всех погибших на Святом озере похоронили в закрытых гробах — очень уж изувечены были трупы...

Мама на похоронах не плакала, не бросалась на гроб, как другие женщины, она как бы окаменела от горя, «тронулась», как говорили в толпе.

Тот день был одним из самых тяжелых дней моей жизни: я очень любил отца.

Правда, все происходившее на площади я воспринимал, как нечто нереальное, не имеющее отношения ни ко мне, ни к моей семье. Похоронный марш, сентябрьское солнце в погнувшихся медных трубах оркестра, запах влажной глины из огромной могилы, длинный ряд окрашенных охрой закрытых гробов — все это как сквозь дым, как во сне. Что-то тогда как будто остано-

лось во мне: словно я не понимал, что это хоронят моего отца.

И только на обратном пути, когда мы с мамой возвращались с площади, случайная встреча разбудила меня, заставила почувствовать и по-настоящему пережить все.

Мы шли вдвоем, я впервые в жизни вел маму под руку. Она не плакала и ничего не говорила. Многие перегоняли нас, — некоторые смеялись, радовались — наконец-то победа! — другие плакали — те, кто похоронил родных.

На углу Проломной улицы нас обогнал человек в дражной коричневой сермяге, я его не сразу узнал. Он шел быстро, легко и широко помахивая правой рукой, вполголоса напевая, — вначале я не разобрал слов. А когда разобрал — будто кто ударил меня в самое сердце!

— Гробики сосновые... гробики дубовые!.. — радостно и беспечно мурлыкал прохожий.

Оставив маму, я рванулся за ним. Неожданной и страшной силой налились руки. Но, видимо почувствовав мой взгляд, человек в сермяге обернулся. Это был Кичигин.

Задышавшись от ненависти, я несколько секунд неподвижно смотрел в его сытое, довольное лицо. Потом оглянулся — нужно было найти камень или палку, чтобы ударить этого гада.

Но поблизости ничего не оказалось. С перекошенным от испуга лицом Кичигин воровато скрылся в ближайшей калитке.

Когда мы вернулись к себе в подвал, Подсолнышка и Стасик бросились к нам навстречу.

— Где вы были? — требовательно спросила меня Подсолнышка.

— Мы... мы ходили смотреть новый дом, куда переедем.

— Опять буржуев дом?

— Да.

— И в нем опять пол будет красивыми клеточками?

— Да.

— И большие зеркала тоже будут?

— Будут.

Я повернулся и пошел к двери, чтобы сестренка не видела моего лица. На пороге оглянулся — мама сидела у стола, положив на колени руки, неподвижно, как мертвая.

Мы Подсолнышке так и не сказали о гибели отца, и она еще долго, до самой своей смерти, ждала его возвращения. Бедная девочка!

Вот тот далекий скорбный день и был последним днем моего детства...



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. «Голубиные годы» . . . . .	3
2. Подсолнышка . . . . .	7
3. Два дня назад в Тюремном замке . . . . .	12
4. Таинственный парк . . . . .	14
5. Война началась . . . . .	21
6. «Джемма» . . . . .	23
7. «А вот Овод, он не побоялся бы...» . . . . .	25
8. «Скушно...» . . . . .	29
9. «Вы должны быть смелыми» . . . . .	33
10. Там, где жило «привидение» . . . . .	37
11. Опять привидение! . . . . .	40
12. Оля Беженка . . . . .	45
13. «Я думал — мы бедные...» . . . . .	50
14. «Зря и убили...» . . . . .	52
15. «Чтобы ни войны, ни царей не было...» . . . . .	57
16. «...И в землю отыдеши» . . . . .	63
17. Возвращение дяди Коли . . . . .	65
18. Весточка от самого дорогого... . . . .	70
19. «Вот я свиделись, дорогие!» . . . . .	79
20. От Февраля к Октябрю . . . . .	86
21. «Будет сделано!» . . . . .	88
22. На мосту . . . . .	94
23. «Это они перед смертью лютуют...» . . . . .	102

## К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге просим  
присылать по адресу:  
Москва, А-47, ул. Горького, 43.  
Дом детской книги.*

\* \* \*

Для восьмилетней школы

*Рутько Арсений Иванович*  
ПОВЕСТЬ О ПЕРВОМ ПОДВИГЕ

Ответственный редактор *К. А. Черненко.*  
Художественный редактор *С. И. Нижняя.*  
Технический редактор *И. П. Данилова.*  
Корректора *В. В. Самороднова и М. Б. Шварц.*  
Сдано в набор 13/X 1961 г. Подписано к  
печати 30/XII 1961 г. Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> —  
3,5 печ. л. 5,88 усл. печ. л. (5,58 уч.-изд. л.).  
Тираж 150 000 экз. ТП—1962 № 364. Цена 27 коп.  
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

---

Фабрика детской книги Детгиза.  
Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 1632.





